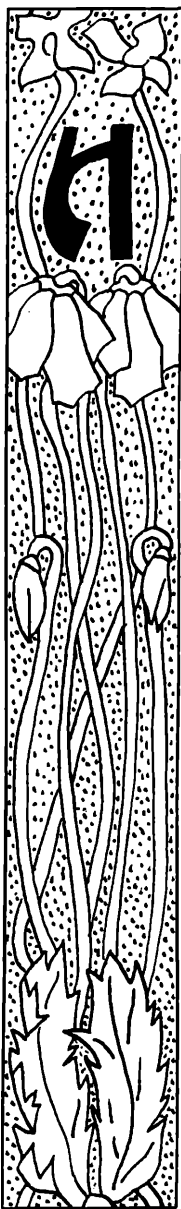




ИНДЕКС · Z



С И Н Д Е К С

**ОБВОДНЫЙ
КАНАЛ**

группа ДООС

СУМЕРКИ

ВСТРЕЧА

СИМБИОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ К

84.44.5

И 60

ИНДЕКС

альманах по материалам рукописных журналов

Составитель А.Урицкий

Редактор М.Ромм

Художник А.Миронов

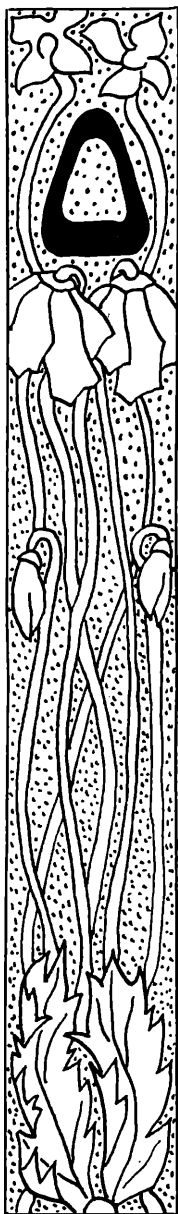
Составитель благодарит за помощь в работе С.Гандурину, а также редактора "Обводного канала" К.Бутырина и группу ДООС за предоставленные материалы.

И 4702010206
P26(03)

Москва

ISBN 5-86310-024-9

© Гуманитарный фонд, 1993



БВОДНЫЙ КАНАЛ

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ.

Обводный канал, как многим, наверное, известно, это искусственная водная артерия, соединяющая среднее течение Невы, там, где она делает в пределах города крутое колено, с ее устьем, и окончательно превращающая Петроград в большой остров. Прорытый в Александровскую эпоху с определенной благой целью, канал не зарос, не был упразднен и засыпан, как иные питерские каналы и речки, но, напротив, стал неотъемлемой и по-своему знаменитой частью Ленинграда. И хотя единственная его в советское время заметная функция — городской клоаки, была, по-видимому, сильно преувеличена молвой и отражает скорее бессознательную потребность горожан в структурировании своего жизненного пространства на “высокой” и “низкой”, для ленинградцев 70-х, 80-х годов, во всяком случае для компании литературных аутсай-

дерев, задумавших весной 1981 года издавать машинописный журнал, Обводный канал как-то само собой являлся привычным воплощением дна, изнанки, окраины жизни, — окраины, если не реальной, то метафизической. Их, будущих издателей, тянуло на его запущенный, но пронзительный в своей экзистенциальности берег, вообще в “район Обводного канала”, не меньше, а то и больше, чем на “берега Невы”. Увиденное и услышанное на протяжении от “Красного Треугольника” до Чубарова переулка (помните “чубаровщину?”) и от Чубарова до Лиговки и Лавры послужило камертоном для новых номеров журнала с одноименным названием. И если мне удалось в какой-то степени прояснить для читателей никогда не бывавших в Ленинграде этимологию имени журнала, то имя, я полагаю, кое-что должно сказать и о его сущности, о намерениях и настроениях его основателей и авторов, как говорят же что-нибудь имена “Метрополя” и “Петрополя” и “Невы”.

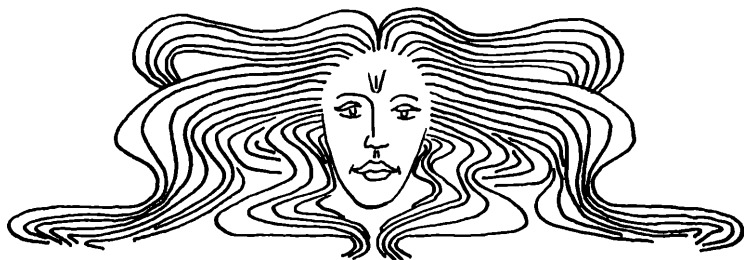
Разумеется, не следует абсолютизировать название и воспринимать “Обводный канал” в качестве какой-то новой “физиологии Петербурга”, то бишь Ленинграда. Название возникает, в конечном счете, случайно, а дальше, отпущенное на волю, обрастает не предполагавшимися, но оттого не менее важными смыслами. Вскоре по выходе первых номеров “Обводного” я услышал от поэта Олега Охупкина (по источнику заработка истопника), что у них в котельной журнал называют “байпасом”, словом, смысл которого применительно к журналу я вначале не понял и которое показалось мне неуместным американизмом, но которое, как пришлось убедиться, понятно любому поэту — оператору газовой котельной. Также долго я не мог понять, почему москвичи называют “Обводный” “Обводным каналом”, и готов был видеть в этом проявление легендарного различия в орфоэпической норме двух столиц. Вопрос так и остался открытым, но идея обводки — окольного пути, минующего торжища как официальной, так и неофициальной культуры — оказалась важной и нужной.

О названии достаточно. Если говорить об определенной эстетической программе, то у редакции, состоявшей в начале восьмидесятых из прозаика Бориса Рохлина, поэта Сергея Страновского и критика Кириллы Бутырина, ее в строгом смысле слова не было, да она была нам и не нужна. “Обводный канал”, возникнув на дружески-домашней основе, не был органом какой-либо литературной школы или котерии — на его страницах предполагалось дать место всему действительно живому, всему, отмеченному печатью вкуса или поиска, всему, что не укладывалось в санкционированный литературный дискурс и не имело склонности к культурному коллаборационизму. Это была, если хотите, попытка реализовать проект — по мнению многих, утопический — автономного культурного существования, своего рода культурной автаркии, пока со своими журналами, а в перспективе “школами и детскими садами”. Что из этого получилось и может получиться — другой вопрос, вопрос для социолога и философа культуры. Во всяком случае, литературная про-

дукция, создававшаяся в условиях этой поставленной самим себе свободы (разумеется, относительной), сохранилась и продолжает сохраняться, а опыт катакомбного существования, похоже, еще пригодится русской культуре. Эклектизм — в плане репертуара — при таком широком подходе, по-видимому, неизбежен, и мы пытались его избежать, сознательно сталкивая на страницах журнала лучшее от авангарда и традиции, представляя читателю поверить одно другим и превращая возникающее между двумя полюсами наших литературных симпатий напряжение в конструктивный принцип. Поэтому такие разные авторы, как, например, А.Бартов, В.Лапенков, Д.Пригов, Л.Рубинштейн и С.Стратановский, с одной стороны, и Б.Дышленко, Е.Звягин, П.Кожевников, В.Кудряков, О.Охапкин и И.Тайлов, с другой, — объединяемые лишь неприятием культурного официоза и талантом, создавали, думается, единое эстетическое поле.

Собранные здесь тексты в малой степени отражают напряженность и пестроту этого поля, особенно это относится (по причине экономии места) к прозе: все крупные вещи остались за пределами антологии. Стихи даются не в алфавите авторов, а по мере их появления на страницах журнала, и сгруппированы тремя волнами — попытка дать почувствовать пульсацию времени на уровне самиздата. Предпочтение при отборе отдавались именам малоизвестным (незаслуженно) и текстам до сих пор не напечатанным. Поэтому московские поэты и прозаики гости “Обводного канала”, хорошо известные столичному читателю, не должны быть в претензии к составителю.

К.Бутырин.



ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

1981-1982

Дмитрий БОБЫШЕВ

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ

Посвящается Ю.П.Ивакву

1

Ну, что с того, что пил? Зато как пел “Блаженства”!
Из плоти искресах конечны совершенства,
И кроткия жены изрядно поучах.
Что стало из того, что сей Ничто исчах?
А то и вышло, что из Ада мрачной сени
Восхитила его любви блаженной Ксеньи.

Коль с мужем плоть одна у вдовья жены,
Чем плохи мужнины кафтанец и штаны?
Ах, светелко-супруг, я-ты, я-ты, я телом
Лампадка масляна, тебя во мне затеплим.
Ты — это я, ты — я (и крестится скорей),
Мой милый баринок, я назовусь Андрей.

И молится (язык да не прильпе к гортани):
Благословивая брак в Галилейской Кане,
Прости, же Чюдная, на этот брак — Покров.
Полковник баба — я, я — певчая Петров!

2

... И, нищелюбая, бредет она, раздавши
— да что имение! — саму себя, и даже
Горазнее того, — с просвиркой поутру!
И славит Господа за — в башмаке дыру!
Морозец искрится, свет позлащает резко
снег между кирпичей, меж бочек свинорецкой
И сяжской извести, меж хохотов и крикс.
Толпа и гвардия. “Виват, императрикс!”
И ангелы плетут золотые канители.
“Ах, не спугните их, ах, вот и улетели!”
Ухватки их лишь Ксении видны.
“Что, люди русские? — Пеките-ка блины!”

“Дак ведь не масленица, да октись ты, Ксения.”
А тут Елисавет почилa к воскресенью.
За Ксенины блины, что знала наперед,
Скорей, чем за любовь, любил ее народ,
С поминок царских. И —

3

И вдруг прошло два века.
Стоит на кладбище Смоленском склеп-калека.
На “ладанки на грудь” растащен, а стоит.
Не склеп — часовня, нет, и не часовня — скит!
Поскольку Божия не сякнет здесь работа.
“Святая Ксения, избави от аборта!” —
наскрябана мольба. И дата — наши дни.
“Сдать на механика позвол” . “Оборони
от зла завистников”. “Дай преуспеть в латыни”.
Здесь — гривенник в щели. А там — пятиалтынный.
И — даты стертые. “Спосшествуй”. “Прости”.
“Не дай облыжнику успеть...” “Непусти.”
И — “Благодарствую”. И — “Слава в вышних Богу!”
Христоблаженную, хлопочущу о многу, —
О теплой мелочи и о слезе людской, —
Её бы помянуть саму за упокой,
Горяще-таящую истово и яро.

Я помолился лишь “о нелишенъи дара”.

1980

Александр ЖИДКОВ

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Неподвижно лишь солнце любви.

В.Соловьев

Где кончается Ночь,
начинается наше сознание;
где кончается наше сознание,
начинается вечная жизнь.
Это видимый свет,
то трава городского причастия
ко всему, что живет
потаенно в углах темноты;

клавесин и свеча
и наивная вера в гаданье
не раскроют вещей
предначертанный путь.
Есть ли правда в страстях,
неподвижных, как море песчинок?
В них избыток движенья
порождает ничто.
Ведь тотальным страстям
соразмерна тотальность обмана.
Выход в подлинность есть —
через смирение и стыд
пред телесностью дня.
Но оправдана плоть —
ей предложат брусничную воду,
и наступит опять тишина.
Клавесин замолчит —
руки пали достигнуть исхода.
За домами кончается Ночь,
за домами сознание спит.

Пушкин, 1970

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПОЖАРАХ

Уж увидя призрак грыжи
и медленно переступая...
Малец, скажи,
кому открыты двери рая.
Безумен справочник судеб,
не предана напасть огласке.
О, если б было место, где б
пожар любви был равен ласке.
Горит пожар, пылает лес,
стволы мрачнют обречённые;
давление снизу до небес
тревожит ангельские троны.
Всеблаг, всесвет Ты — Боже — Боже,
смотри, как камни под Тобой
мягчают и кривятся рожи
ведомых слепо на убой.
.
.
Бежала гарь с лица земли,
служанка яркая пожара;

ее хозяйюшка хулит,
что не смогла сдержать кошмара.
О бедная Агарь, куда ты
свои заботы сволокла,
где место то и где те даты,
когда ты с помощью стекла
собрала гневны очи Бога,
испепелившие траву?..
Песок рассыпал у порога
и пеплом умастил главу.

Елена ИГНАТОВА

* * *

“Ничего, кроме ненависти...” — говорю. Но из глаза-куста
В мир летят семена, и живут, и пускают побеги.
И когда вы меня повезете в позорной телеге,
Оживленная зреньем моим, жизнь прекрасна, густа,
Прошумит, прощена. Вам деревья нужны для креста,
Для порубки — в чужие болота протягивать слезы.
Боже, в хлипкой телеге — в тугую молочную твердь.
На помосте торчит как сосок, кумачовая плаха:
Прижимаюсь лицом, припадаю губами без страха...
Я любима в мгновенье, когда вы пришли посмотреть,
Вы меня принимаете в общенародную смерть,
И следите, как ватно валюсь на помост я, неряха.

* * *

Грубо стесан и опоясан собор
Туфом узорным. Мы из Армении сонной
Ехали к северу. Помню ее непреклонный
Камень. И ржавое солнце. И небо — в упор.

Правду сказали — нашим красотам совсем
С великолепием древним нельзя становиться и вровень,
Но тосковать по безродным полям, по овинам без кровель
Кто научил и излечит когда, я не вем.

Ближе, больше... Речка под серым дождем,
Шест над водою — так иглы втыкаются в вены.
Тело родимой земли горячо и нетленно
И серебристые шрамы дороги на нем.

Вот и Москва, где радищевский сонный возок
Выловлен сетью дождя и подтянут под тучи.
“Чудище обло, огромно и воет по-сучьи,
Насмерть укачан российской дорогой ездки.”

Крови костер угловат. В пепле осенних болот,
Вспоротой пашни — жизнь вытекает по капле.
Трудна добыча дыхания. Воздух разграблен,
Каждое дерево судорогой тайною бьет,
И остывает вагон...

Виктор КРИВУЛИН

* * *

немногорадостный праздник зато многолюдный
 пороха слаще на площади передсалютной
 темный пирог мирового огня
 и александровская четверня

 детство мое освещали надзвездные гроздья
зимний дворец озаряла и потусторонняя гостья —
 астра или хризантема росла и росла
 гасла — и все выгорело дотла

 помню ли я толкотню и во тьме абсолютной
 свое возвращение к вечности сиюминутной
пересечение потоков тоску по минувшему дню
 и александровскую четверню?

 помню ли я разбеганье свистящих подростков
 хаос какой-то из шапок обрывков набросков
 цепи курсантов морских
 помню ли я? — или полубеспамятный скифф

 вместо меня это видел и вместе со мною забыл
 черные руки отняв от чугунных перил

* * *

 Что лицам лица говорили?
 меня обставшие портреты
 столицы глаз, периферии

камчаточных ушей — земля родная!
на доску нескончаемого лета
трехъярусными веерами

наклеенные лики офицеров —
симметрия и позвоночный столб —
страна родная! реки и долины

быки разрушенных мостов
поддерживают нас как бы в полете —
военной косточки, армейской сердцевины

трехтактное лицо при добром повороте
открыто словно проходная
без турникетов и барьеров

* * *

веревка и пила, аэродром и верфь
строительный разгром — но где? в конце или в начале
великой нации?

империя сама себя развалит
сама себе и царь и червь
ей нечего бояться

заизвесткованный скелет Четвертого Ивана —
он больше остова галеры болевой
на стапеле где облачко меж ребер

где хлюпанье и хрип трофейного баяна
где обыватель пораженный с головой
ушел в историю и обмер

ее махину созерцая
под небом вечно-голубым

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

Олегу Охапкину

Петербургских крыш полифония,
Контрапунктом — купол синагоги...
Уж не ты ли это, Ниневия —
Пепельный мираж в чухонском смоге?

Замер я, к окну прильнув, и внемлю
Памяти твоей о Божьем гнев...
Кит — один из трех, что держат землю —
Приютил меня в урчащем чреве.

Шевелятся, чувствую спросонья,
Вскормленные немотой глаголы;
Во грехе, во мраке беззаконья
Зреют для пророческой крамолы.

Сам дрожу пред их растущей силой,
Трушу их утробного азарта.
Лучше бы им, думаю, могилой
Стала эта нищая мансарда.

* * *

Чудится мне: перед креслом пылает камин...
Опустошённой душе ничего нет милее равнин,
Снегом покрытых, и бесконечной дороги...
Слышу, как полночь кукует... Кончено. Смерть на пороге...
Вижу, как он превращает, обряд совершая таинственный,
В пепел свой горестный свиток, и вспышки, как отсветы истины —

Той, что измаев дотла, наложила запрет
На преломленье в словах — его оживляют портрет
В черном металле. И, Боже мой, как неуместны
Речи, москвичка, твои! как неколебимо-отвесны!
Век наш, должно быть, объят мороком летаргическим,
Что не развеять никак тонким свечам литургическим...

Вот, — указывает москвичка мне, — тот особняк,
Где умирал он для мира, где дух его мощный иссяк...
Век наш, должно быть, взлелеян неистовым Виссарионом.
Впрочем, и тот уж с небес оком глядит умудрённым
На миргородскую новь окаянно-печальную,
В тройке крылатой узнав Троицу Живоначальную...

Чудится мне: перед бронзовым креслом — черта,
Что преступить он собрался, или, вернее, врата
В образе прежнем — камина, что, вот уж, не жар излучает —
Холод могильный, и кто-то оттуда встречает
Душу его полегчавшую, тень, мимо нас шелестящую,
К новой отчизне дорогу молитвой о бывшей мостящую...

Февраль 1982

* * *

О виденье с музыкой, потухни. —
Заклинаю, — поглотись клоакой
Коммуналки с галдежом на кухне
И всегда голодной собакой!

Но вотще: налипло на ресницы,
Ширится моей помимо воли.
Твердь катастрофически кренится...
Ошалелый кит мычит от боли...

Господи! Уйми глаголы, стисни
Горло. Отродясь косноязычен,
Я хочу неброской тихой жизни.
Не хочу плевков и зуботычин

Твоего сплочённого народа.
Отодвинь назначенные сроки!
Эта темень, эта несвобода
Мне милее, чем удел высокий.

Но не слышит небосвод беззвездный
Вздых мой робкий: только не сегодня!
ВСТАНЬ. ИДИ — доносится из бездны.
И не скрыться от лица Господня.

Январь 1982

* * *

Рухнула и — бездыханна. На повороте — в кювет.
В пропасть, во мрак. Да жива ли ты? дай ответ.
Не дает ответа. Вырваны языки её колоколен.
Крылья обвисли. Скорбен и безглаголен
Ангел с вороньим клювом, присевший поодаль, в вереске.
Повозка и скарб драгоценный — всё разлетелось вдребезги...

Гоголь, поэт и монах, разогнавший назойливых муз,
Монастыря не обретший и к жизни утративший вкус,
В бронзовом кресле сидит, и не слыша московского шума,
Весь немота и смиренье. И на челе его дума —
Грозной вороной с рисунка пером Добужинского.
Бронзе и той не унять наваждения сатанинского.

Сергей МАГИД

* * *

Разночинная ересь. Дымок папирос горьковатый.
Запотевший мерзавец и бубликов связка тугая.
И в молчании кашель и снова басок сипловатый.
И дремучая жуть за окном как во время Ногая.

А у нас разговор. До утра. До смурного рассвета.
Всё о том же: о судьбах, о смерти, о жизни, о воле.
Всё вопросы, вопросы, вопросы — и всё без ответа.
И усталые рты безнадежную правду мусолят.

Разночинная ересь. Опять — говорение речи.
Ни основ, ни устоев, ни почвы, ни грозного неба.
Только шепот сквозь сон: человеке, э-гей, человеке,
ты взаправду ли был, ну а может и вовсе ты не был...

И плывет к потолку пустотелая куколка слова,
и парит в облаках папиросного горького дыма,
всех нелепостей наших и бедствий дурная основа —
пустота многословья. И жизнь, как ты невосполнима,

как затвержены мы, как заезжены наши дороги...
Разночинная речь. Ты лишь ересь, а ересь не догма
Потому и сегодня тебе погребальные дроги
увезут в тишине и тайком, и подальше от дома.

Лишь останется запах — мужской, застоявшийся,
крепкий:
запах потного тела, махорки и пролитой водки.
И добро, если к ним примешался пока ещё редкий
запах, чуждый нами, — кержацкой, просмоленной
лодки.

Потому что — раскол. Потому что — расход. Разделенье.
Не труда и сословий, и взглядов, а смысла и смысла.
Не в Сибирь же идти под кандалное тусклое пенье,
всенародно-российское в шею, вдавив коромысло.

Здесь задача в ином. Повторяю ещё — мы в расколе.
Откололись снаружи, внутри раскололись. И всё же,
разночинная речь, разночинная ересь, доколе, —
будешь чёрной смолой для сердец, на осколки похожих...

1980

* * *

Меня так мало здесь — а там и в самом деле
голландска: зима резвится за стеклом,
блестят, блестят коньки, не шелохнутся ели,
и спящая река свернула под лёдом,

и так бело внизу, и лишь комочек плоти,
живой, единственный, горящий на снегу,
и снова режут глаз коньки на повороте,
и расцветает кровь на ледяном лугу, —

а к вечеру замрёт, забьётся, занеможет,
засмотрится в полупрозрачный лёд
и в глубину его перетечёт, быть может,
и белый пар промоину зальёт,

и снегом прорастут затейливые пряди —
неутомимых ног дотошная гоньба,
и кончится рассвет в сиреновом окладе,
и тоненьким ледком затянется судьба.

1980

* * *

Всё рассчитать, всё выверить в уме
и отвести пружину до отказа.
Ствол оттянуть, чтобы уже ни разу
не просыпаться по утрам в тюрьме.

Всё потерять, всему свести итог,
увериться, что бытие как свечку,
пора гасить, — и отпустить курок.

И возродиться, услышав осечку.

Олег ОХАПКИН.

НИЩЕТА

Всё отнято у нас. Но живы мы.
Отымется и жизнь — мы не умрем.
Так чем и души наши подвижны?
Каким таинственных огнём?

Все для тебя возможно, Господи!
И верю я: Ты дашь нам хлеб.
Гори, душа моя, без копоти,
Пока во тьме я не ослеп!

Свети в пути земном и нищенском!
Еще немного дотерпеть,
И в тихом шуме Благовещенском
Нас примут с Ангелами петь.

И сколько жили Христа ради мы,
Зачтётся нам на небесах.
А те, кем были обокрадены,
Все получили в телесах.

И если и суму у нищего
Отымут, пусть их, не мечтай!
Нельзя отнять лишь присносущего.
Всяк богатится нищетой.

Иван ТАЙЛОВ

* * *

“Утро холодное, утро туманное...”
Ты прошептала почти безмятежно:
“Мною владеет предчувствие странное,
что до зимы я умру неизбежно”.

Ночью был дождь, и забытая книга
спит на веранде, как мёртвая птица.
“Ты обещал мне: до смертного мига
пусть осеняет любовь наши лица.

Между любовью и вечным покоем
мне выбирать уж осталось недолго.
Станешь ли ты выбирать между мною
и звездным небом, и — нравственным долгом?”

май 1981

ДЖЕН ЭЙР

Под тонкой ризой, белой кожей
зажги свечу средь темных вод,
и сразу в мир, по воле Божьей,
несут, чтобы имела плод.
В воздушных струях клонит пламя,
но до конца пути стройна —
была бы вера в нас, как камень,
и было б сердце, как струна.

18-19 янв. 1973
(после кинематографа)

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ

* * *

О любовники жаркие
начиненные жирными рыбами
И на ложе восторгов
жующие рыб

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

1983-1985

ГАВРИЛЬЧИК

* * *

За окошком, сударь, стужа-с
И метель белым бела.
За окошком мрак и ужас.
Вот такие, брат, дела.

Но приятно пахнет елка
И во рту уже слюна,
Что в бутылке опохмелка
И почти до стакана.

Спит прелестная подружка
Биографии моей.
Выпить что ли? Вот и кружка.
Сердцу будет веселей.

А тебе (пусть злится вьюга)
В белом венчике из роз
В сладком сне, моя подруга,
Да привидится Христос.

Александр МИРОНОВ

* * *

вне языка не помышляй и жить,
пусть даже почва столь косноязычна,
что падшее на землю не умрет —
не оживет — и в зауми безличной
не закоснеет, но из рода в род
протянется бессмысленная нить —
питательная трубка между плотью
и нежитью словесной — мы живем! —
сплошной язык, как сумасшедший дом
одержит нас. И нет конца бесплодью

* * *

Писать, закрыть глаза, писать,
писать — открыть — писать,
как кол на голове тесать,
себя за хвост кусать.

Мы строим писчий мавзолей,
шарообразный дом —
кто пишет кровью по земле,
кто — попросту пером.

Но всякий раз сводя на нет
письма и крови след,
грядёт вослед с метлой за ним
незримый Аноним.

Он обростает, словно дух,
костьми, крылом, пером;
плоть человечья, ровно пух,
колышется на Нём.

Но вот Он распрямит крыла,
стряхнет земную рать,
и вновь губерния пошла
писать, кромсать, писать.

Какое длинное письмо —
растет себе само!
Как бы из чресел эскимо —
попробуешь — дерьмо.

Какой огромный чемодан
вестей из дальних стран! —
Как расчленёнка, как роман —
читай, держи карман!

Между началом и концом,
Меж Сыном и Отцом —
как будто исчезает суть —
не вся — чуть-чуть, чуть-чуть:

апофатический намёк
хрящ мировых мощей,
соль бытия, письма предлог
и поясничный змей —

как ни зови — Авторитет,
Желанье, Божество,
само дыхание... О, нет! —
Условие его... —

Нет Имени: пятно, пятно —
на бледном полотне:
творение растворено
в смешительном огне.

* * *

Слышишь, как в душной ночи
Зашуршала воздушная яма? —
Матерный треск саранчи
И защитная чушь Мандельштама.

Не безземельный ли Спас —
Каин двенадцатительный —
Чешет чешуйчатый глаз,
Пашет на черни ничейной?

Нет, говорит, я шуршу,
Чутко шуршу — не маячу,
Очерком, чернью пишу,
Шерстью земною означу.

В братской могиле шуршим
Властью и песнью и пастью,
Словно наружу спешим. —
Слышишь, трава*, это — мастер!

Мастер и мастеровой
Власти звучащей и Вести.
Всё здесь смешалось. — Конвой
Жирных червей в поднебесье.

* — Пастернак

Их безразличная страсть
Тешит то масть, то угрозу —
Входит в мастящую пасть
Или в жующую розу.

Слышишь теперь, говорю?
Как и написано — слышит.
В душное небо смотрю:
Давится, делится, дышит.

Елена ПУДОВКИНА

* * *

Покуда в мельницу не попадет зерно,
ещё возможно прорастет оно,
свой дар возможно возвратит сторицей,
пройдя, как писано, путём зерна.
Но если уж попало в обмолот,
и жернова неумолимый ход
чудесным образом не прекратится,
то — что ж? И дальше тоже жизнь дана:
смешались в общем хлебе имена,
чтобы в Христово Тело претвориться.

* * *

“Пошли мне сад на старость лет”
М. Цветаева

Никто нам сада не пошлёт на старость лет.
Есть мёртвый лес. А будущего нет, —
об этом я давно подозревала.
И плоская земля окружена провалом
со всех сторон. Ну, а у тех дорог,
которым не сдержать стремительного бега,
в конце пути — увы — один итог:
гора костей, разбитая телега.
Так для чего же нас записаны в сердцах
слова об огненной летящей колеснице?
Иль этот сад, который только снится —
и есть любовь, что побеждает страх?

Елена ИГНАТОВА

* * *

Муза гражданской скорби — гражданка Петрова,
(время собачье, линяющий его колорит)
только она не стареет, смотрит сурово,
пламя котельной над ней непреклонно горит,
скорби народной...

Лампочка слабо мигает.

Что мы — пороли горячку? Смыкали каркас
времени? Дарья, Савраска, Сенная. —
все из беспамятства вырвет пылающий газ —
и под луною Сенатскую, спящую глухо...
Тенью от бронзы мерцает бумажный конек...
На невезухе-лошадке писатель-непруха
гиблого слова из лесу вывозит возок...

* * *

В воздухе пахнет жильем,
поня Антося горбится над шитьем.
Ветер иголкой ранен. Холст пробит через край.
Карий и золотой мальчик в ногах играет,
я говорю: “Голубь, к нам прилетай!
К нам прилетай!”

Время проступит чернью на серебре,
выйдешь умыться — снег заскрипит в ведре.
Как молоком покрашенный крепкий чай,
бурое солнце взойдет и помедлит час,
новую твердь и землю скуёт мороз —
звон ото льда и звезд.

Ты не отринешь мира на трёх китах,
тёмного тела речки в широких льдах,
всех, кто живёт под кровлей и вербы куст,
белы суеты наши и эту грусть:
слышать: лепечет небо и дышит наст,
видеть: волхвы прошли, не окликнув нас.

* * *

А вечером в колодце ближних
под тополем добра и зла
лиловый голубь, как булыжник,
летает, раззудив крыла.

Бритоголовый, с красным зраком,
как каторжник или вампир,
сыт пауками или страхом,
он обещает миру мир

и плоти — плоть, и духу — дуло...
А лозунг может быть и лжив.
А что воробушек Катунла?
Воробушек куда жив.

РУССКАЯ СКАЗКА

В яме экзистенциальной
гроб качается хрустальный, —
богатырь храпит в гробу
и звезда горит во лбу.

Нечувствительный к помехам,
богатырь смеется смехом:
снится воздух голубой,
красный конь и вечный бой.

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

1986-1989

Елена ШВАРЦ

ЧЕРЕМУХА И ТОМАС МАНН

Дожди напали на весну. Пovyчесали
Лепестки с дерев и бросили их в лужу,
Они лежат, сияя, сон их тонок,
Черемуха мятётся на ветру,
Как легион разгневанных болонок.
Весна обстриженная,
Весна обиженная
И горло тучами обложено
Таковыми синими.
Черемуха — Волшебная гора —
Внутри ее — чахоточный германец
И то же, что ее дрожащие цветы,
Его веселый роковой румянец.

СВАЛКА

Нет сил воспеть тебя, прекрасная помойка!
Как на закате, разметавшись, ты лежишь
со включенною головой
И черный кот в манишке белой колко
Терзает как пьянист живот тяжелый твой.
Вся в зеркалах гниющих, в их протресках
Польнь высокая растет,
О — ты Венеция! (и лучше бы Венецья)
И гондольером кот поет.
Турецкого клочок
В лиловой тесноте лежит
И о Стамбуле, о кальяне
Бурьяну тихо говорит.
В гниющих зеркалах дрожит лицо июля.
Ворона медленно на свалку опустилась
И вот — она идет надменнее, чем Сулла,
И в цепкой лапе — гибель или милость.
Вот персик в слизи, вспухи ягод, лупа,
Медали часть, из книги корешок,

Ты вся в проказе или ты ожог,
Ребенок, облитый кипящим супом.
Ты — Дионис, разодранный на части
Иль мира зеркальце ручное?
Я говорю тебе — О Свалка,
Зашевелись и встань. Потом
О монстр, о чудище ночное,
Заговори охрипло рваным ртом.
Зашевелись и встань, прекрасная помойка!
Воспой, как ты лежишь под солнцем долго,
Гиганта мозгом пламенея, зрея
Вся в разложении съединяя, грея,
Большою мыслью процвети и гной
Как водку пей и ешь курины ноги.
Зашевелись, прекрасная, и спой!
О Rosa mystica, тебя услышат боги!

Иван ТАЙЛОВ

* * *

Где твой ночлег? Вот в этом жалком стене,
вот в этом вздохе из больной груди.
Не в чистых сердцем будущем зоне,
а там, где быть нам Бог не приведи.

В “неправедном изгибе” у ребенка,
в предутреннем смятенье алкаша.
Не там, где дух пророчествует звонко,
а там, где тихо бедствует душа.

* * *

Пусть будет так, как захотела ты,
и мы на злое не ответим злом,
и за собой не будем жечь мосты,
и кость ломать, чтобы спрямить излом.

Как был потерян твой прощальный взгляд,
как ты неловко повязала шарф...
Огнем и серой нас не встретит ад,
мы не оглохнем от небесных арф.

К судьбе привык я, как к поводырю,
чуть шаг ступлю: ищу ее руки,
но я тебя одну благодарю,
что время есть, эйнштейнам вопреки.

Оно и есть тот драгоценный сок,
который вечен — а не бред души,
исчезнувший, едва упал в песок
им до краев наполненный кувшин.

* * *

Я познавал, чтобы создать ее
из сложных линий, непростых созвучий.
Но знание — не то, что бытие,
хотя, наверно, так оно и лучше.

* * *

Ставлю “сопки покрыты мглой”,
и всю ночь не меняя пластинки,
по солдатам войны мировой
в спящем доме справляю поминки.

И по тем, кто был верен судьбе,
и по тем, кто сражался с судьбою.
За одних я молюсь Судье,
за других — пьяно спорю с Судьейю.

Лишь один мною проклят стократ,
жив ли он, под плитой ли могильной.
То — в солдата обряженный кат,
не с мечом, а с удавкой мыльной.

* * *

Избрав свой путь, душа должна коснеть
в однажды взятом на себя движенье,
а не метаться, как больной во сне,
что захватил на час воображенье.

Но мы с тобою, выжив из ума,
в изгнание ушли из заточенья,
забыв, что это — посох и сума,
а не из Майн Рида приключенья.

Ты сшила платье из цветных клочков,
я плащ купил по стоимости сходной.
Была игра азартней, чем в очко
с попутчиком, клянущимся свободой.

Все обошлось — мы там же, где вчера,
и взгляд ничей не засверкал, как бритва.
Спасла нас, верно, чья-нибудь молитва,
а может, просто, не пошла игра.

Я вспоминаю лишь порой о том,
как мерз в плаще, и твой наряд невзрачный...
и для меня стал заточенья дом
еще теплей, вино — еще прозрачней.

* * *

Мерцали девы по двое, по трое
В светелке.
И щеки-апельсины выдавливали мякоть языка — язык плодов.
В Тригорском хоронили посетителей,
И ветер пригибал ветлы к прическе.
Ты одна отпечаталась на известке
Стены-памяти.
Спутница.
Спутались голоса девичьи в головках льна.
Ты вошла в комнату одна,
Растворила руки в воздухе.
Сколько мы гуляли по перекошенным челюстями тропинок,
Плыли по артериям Пушкина.
Его огромное тело распласталось по равнине,
Подметка сапога упёрлась в барскую усадьбу Григорского.
Усадьбу сожгли когда-то.
Потом на пепелище рубили дубы немецкий солдаты.
Но снова по свеженакрашенному полу зацокали серебряные
башмачки барышень,
И Пушкин разлёгся, окунув каштановую прядь волос
В озеро — собственных глаз.
Здесь мы бродили пеликанами,
пожирая рыбу плодов.
Горбился взгляд от холмистого ветра,
И от усталости руки сплетались с ногами.
И вот ты ушла,
И уходя, унесла платье-пламя.
В тебе рождалась другая женщина,

Что я знал за стенами крематориев и больниц.
Иголки падали с ресниц.
Жизнь обернулась городской квартирой.
Вспоминаю поцелуи тропинок Михайловского.
Там мы вдвоем бродили,
Погружая ноги в ил расступившейся памяти.

В МАЕ

С утра уйти туда, где гать
лежит в воде косою ржавой,
чтоб только душу не марать
в унылых оргиях державы.

Нет, то не русская душа
исходит ненавистью бледной,
и никогда не заглушал
в ней милосердые ре́в победный.

Благославляла русский меч
всегда смиренная молитва,
а не неистовая речь,
не ненависть к могильным плитам.

Мы знали: правого суда
не человеком льются гири.
Мы знали... Знали — и забыли,
и полетели в никуда!

И стае, сбившейся с пути,
ничто, кроме себя, не свято.
Как грустно и легко идти,
забыв про все, к черте заката.

Забыв, что ныне горше стыд,
чем за малют и за биронов...
И, одинокая, горит
звезда судьбы во тьме эонов.

85 г., Финский залив.

* * *

Поклон тебе, великое “Пора!”
В душе хранится для тебя упрямство
перед смиренной мудростью ярма
и перед безнадежностью пространства.

Пусть тот, кто дал нам в руки автомат,
чтоб выжечь нечисть из домов и пашен,
пусть это будет даже враг вчерашний —
он будет ныне нам названный брат.

А рассуждать, кто прав, кто виноват,
не этим, гнушим перед зверем спину.
Судья нам Тот, кого, как нас, Пилат,
дымя сигарой, предавал раввинам.

Поклон тебе, великое “Пора”!
Срывая с горла когти окаянства,
душа успела прохрипеть “РОА” —
и покачнулась глыбой самозванства.

апрель 84.

* * *

Бунт на галере. Пьяные рабы
свободой, как грязною гетерой,
спешат упиться. Виден знак судьбы —
глаз урагана — им перед галерой.

“Рубите мачты и вяжите плот!” —
орет рабами избранная дума.
Но тут свой голос тихо подаёт
какой-то раб, что все молчал угрюмо.

“Корабль этот прадедов трудом
построен был с молитвою и верой.
Он стал казаться рабскою галерой
забывшим Бога — помните о том!”

Но уж рабов два демона влекут —
безврежья страх, безвластья эйфория —
на жалкий плот. На нём галерный шут
намалевал кощунственно: “Россия”.

26-27 мая 90 г.

Василий ФИЛИППОВ

ИНВАЛИДНОСТЬ

Дали инвалидность.
Какая моя наивность,
Думал с правом работы.

Теперь я пенсионер,
И меня не тронет милиционер.

Три гарпии-врача на меня дышали.
Одна простукала молоточком вначале.

Приказала следить за молоточком зрачками в печали.
Зрачки мои — змееныши — спали.

— Что вы получаете?
— Мотиден-депо.
— Нейролептики, — пояснила старшая.
Две гарпии тотчас кивнули,
И засунули носы в бумаги — уснули.

Без права работы тоскливо.
Ресницы мои побелели от злости.
Что же мне, глодать свои кости?

Я вышел из диспансера походкой гражданина,
И думал: — Свершилось. Во имя Отца, Святого Духа и Сына.

Тоскливо жить на свете,
Когда подумаешь, куда ни пойдешь и повсюду гарпии-тети.

А дома я лежу под одеялом,
И кажусь себе смелым.

Пью чай. Прихлебываю глотками,
Чтобы не потерять тяжелое знание жизни.

Советовали поступить в ПТУ.

Ну и ну.

— А как же Университет.

— Мечты о нем оставьте своей бабушке.

Действительно промах, что упомянул им об Университете.

За то и содержат в клетки.

Ничего, как-нибудь выкарабкаюсь,

Выпрямлюсь.

Зато будут деньги.

А это — главное, что есть на белом свете.

Через год сниму инвалидность,

Но все равно — ура! — не будет воинская повинность.

Что-нибудь придумаю и этой зимой.

Спеша с траурной вестью я вернулся домой.

* * *

Медленно текут дни.

Работа, огни.

Каждый день напиваюсь кофе,

Чтоб звучали в мозгу соловьи.

Устраиваюсь на работу медленно,

Словно баржа причаливает к берегу.

Сегодня был в психоневрологическом диспансере.

Врач молотком глаз разбивал мраморную статую меня.

С шипением вокруг рта моего обвилась медицина-змея.

Острые зрачки сапожника-врача

Склеывали кофейные зерна-родинки и пыль с моего лица,

Щупали голову глаза-спруты.

Я сидел в кресле согнутый

Под ударом кинжала-плаща.

Вопросы о жизни ушедшей были новее цветка.

Я сидел в оранжерее его слов и говорил: — “Пока

Я от кофе еще не хмелею.”

— Что вы будете делать в праздники?
— Читать, конечно, как и в обычные дни,
А наливаются фосфором водки пусть ночные огни.

Врач ошпарил меня в спину кипятком взгляда,
И я уехал от Них, если бы навсегда.
Нам постелью сейчас горит лампочка, укол, облачко, звезда.

Я лежу и читаю о монахах,
Которые входят в лес помыслов, добрых и худых.
Дыры-небо на их одеждах.

Встречусь с девой на Кировском мосту,
И в церкви встречусь с ней, когда увижу кровь от гвоздя и
подойду к кресту.

ТАРАКАНЫ

Охочусь на тараканов —
Политиканов.

Ночь. Я — охотник.
Спит Бог и Иосиф-плотник.

Сколько тараканов развелось
В нашей квартире.
Шевелят усами тараканихи-командиры.
Давлю тараканов, не отпускаю их с миром.

Пустые твари!
Но и охотник в ударе.

Тараканий труп падает на пол.
Я наступаю на него своею лапой.

Фу, гадость.
В сердце утихла злость.

Я — тараканий убийца.
Они — припасов съестных кровопийцы.
Эй, таракан, подвинься,
В жуть глаз своего бога-человека окунися.

Я бегаю по кухне крысой.
Ловлю тараканов,
Наркоманов.

Бабушка, поскорее проснися
И тараканом живым подкрепися.

Тараканы бегут вниз,
В щели,
В окна, в двери.
Щелкают пальцы мои в суставах.
И стекла очков запотели.

Идет тараканья война.
Бабушка, налей мне вина.
Я в окопе
На Лахтинском болоте.

Ползут танки-тараканы.
Я охотник, мудрый и пьяный,
Бог тараканий.

Тараканы, тараканы, тараканы
Залезают на одежду и в диваны.
Я охочусь на кухне, пьяный
От тараканьей лимфы.
Тараканы — дикие скифы.

Наконец, разбежались.
Кухня в отблесках сел пожарищ.
Только мертвый таракан — мой друг и товарищ.

Александр МИРОНОВ

“ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ”

валет

I

кажется я поймал валета
нужно бояться установки а не себя
кажется не себя а установки
снова поймал валета
снова кажется

установки валега
установки себя
установки установки
валега себя

II

дама
сколько это очков
если дама брюхата
как чернобыльская хата
звезда полынь
как яма
в беззвездную стынь
кромешного мата

III

император не король
иногда ноль
уберите его с денег
вместе с демичевым
газетной цензурой речей
владивостока и хабаровска
тогда мы вернемся
вознесенский любимов и лейтенант эрнст
тарковский

IV

набираем очки
оруэлл доктор живаго
никогда не писавший антисоветчины гумилев
и полная полная полная ахматова
хлебников для прорабов духа
миниатюрный кузмин
ходасевич музеи музеи музеи
сорок сороков
салтыкова и щедрина
церквей музеев некрасова
а напротив
дорога имени радищева
из москвы в петербург

V

из петербурга в москву
 говорю тебе нет дороги
 здравствуй эмиграция мы остаемся
 приезжай любезный набоков
 тебя встретит лолита
 неутомимое дитя тех
 кому грозит пленум по кадрам
 с серьгой в одном ухе
 в палцевке он она оно они
 встретят
 познакомят с ходасевичем
 с бунинным пообщаетесь

VI

валет конечно амбивалентен
 нужно бояться не себя а установки
 установки себя не установки
 самой по себе себя
 снова поймал валета
 себя себя
 снова бояться нужно

5.08.86

BACE

На тридцать девятом году жизни
 я — всё еще Дева:
 сижу (по крайней мере не стою)
 и жду Благовещенья.
 Ангелы приходят один за другим,
 друг за другом (святые отцы говорят: бесы!)
 Бесы, думаю я, но, видно, они любят друг друга,
 один за другим, путаясь в моей пряже.
 Ах, хитра она, небесная паутина:
 моя — не моя (скажешь, тоже!)
 Вновь наступило время неофитов:
 благоухают черныбыльские розы,
 раззявилась Язва, разверзлась Дева:
 пришли и Ты, и все вместе.
 Ингмар Бергман на железном престоле
 приплыл, опрокинулся с катафалка:
 “Бог молчит, и мы — тоже!

О, если б построить театр железный!”
Он суровый, этот Ингмар Бергман,
но такой же бешеный, как Феллини,
как Джойс, как его услужливый Беккет:
“Не спуститься ли мне за пирожными, сэр?”
“Что, что вы сказали? Включите, пожалуйста; это в текст”.
И ты, конечно, пришел. И Ты, и Ты. И все бесы.
Башляр (знаешь, кто это?) со своей пропагандой,
за ним “новые левые” (левые — все бесы?)
Кто еще? Moyalite: прядите пряжу,
раскутывайте свиток, если Вы — Дева.
Он явится словом неизреченным, словом смазливym
(если вы — Дева)
Подождите, я еще не кончил:
“Маленькие дети Лесоруба, вспомните его заповедь:
Лес рубят — щепки летят”.

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ

* * *

Бог отнял дар — нечаянный подарок
Забрал назад и дальше приказал
Существовать и вот огарок
Чадит беспомощен и зол
Завистлив хуже чем Сальери
К таланту, к славе. Боже мой,
Дай ощутить в суровой вере
Замену счастья быть собой

1988

* * *

Бог отнял дар — тяжелая потеря
Но я за жизнь цепляюсь, веря
Что вспыхнет радуга вещей
В моей душе еще мощней

Ну, а пока все духи жизни
Как гости скорбные на тризне
Сошлись, не подымая глаз

На что глядеть — огонь погас

1988

* * *

Какая музыка была
Какая музыка пропала
И стала лампой вполнекала
Судьба, что радугой была

1988

* * *

Неужели так называемая духовность
И так называемая душевность
И русского леса волшебность
И русского поля лиричность
И так называемая личность
И стих ершистый, не шерсть похожий
И так называемый пламень Божий
Всего лишь функция нервных клеток
И разрушается от таблеток

1988

* * *

С болью наедине
С Богом наедине
Страшно остаться мне
Зверю Его охот
Рыбе Его тенет

1988

ПОИСК ДЯТЛА

Недоев блюдечко с манной кашей, Юра кинул на плечи своевременный плащ и выбежал на улицу. На углу привычно пробежал глазами по газете в надежде найти заметку из зала суда. Сообщений из зала не было. Он позвонил Слепому и сказал: сантехник не пришел, что значило — партия джинсовых портков задержалась. Потом он зашел в молочную закусочную, растолкал очередь, взял чай без сахара. Очередь, как в армии, получала одно безымянное блюдо — кусок вымени и скользкие макароны. Юра встал у окна и принялся наблюдать за домом через улицу. К нему по вечерам стягивались машины и после инструкций разбежались в поисках неистребимого криминала.

Юра вот уже месяц ловил одного парня, который весьма не нравился Заместителю: два импорта где-то закисло, теперь и третья партия добротных штанов застряла. Необходимо было проверить: кто, где и как работает на сторону.

Его не интересовали подробности появления товара здесь, он был взведен между Капитаном и гурзошниками — делягами с рынка. Он втюхивал все оптом, оставляя себе мизер; главная пачка переправлялась адресату на брюхе собаки, сопровождающей Слепого на прогулке. Слепой матерился на водителей, те не уступали ему дорогу. Недавно пришлось спастись бегством: бензовоз врезался в грузовик с газовыми баллонами.

Юра вышел из душного убежища и пошел навстречу. Слепой успел изменить фасад и даже ошейник на собаке. Юра подождал, пока Слепой войдет в ветеринарный пункт и зашел следом. Они часто меняли место встречи. В приемной пусто; Юра прошел к окошечку, успел “задеть” Слепого, обратился к человеку: как можно усыпить обезьянку: она больна и стара? Краем уха видел: слепой гладит собаку, прилаживая пачку дензнаков.

— Обратиться в зоосад? Спасибо!

Человек из окошечка спросил Слепого.

— Вам чего?

— Булку серого и банку маргарина.

— Товарищ, собака ошиблась. Булочная через дорогу.

Юра вышел. Слепой брел в другую сторону за собакой. Собака шла, опустив хвост, вздрагивая иногда от пометок соплеменниц.

Лениво бросало небо на сторбленные предметы водяную пыль. Морось въедливо проникала в сустав и грозила ревматическими корчами. Юра зашел в пивбар. Надо собраться с мыслями. Халдей в капроновой прокуренной рубашке молча подпалил к раннему посетителю за псевдосельским мощным столом.

— Два пива и орехи.

Халдей с видом человека, не считающего серебро за металл, притащился с пивом и сушками не скоро.

— Получите сразу.

Юра, студент физкультнаук, причмокнул сушкой. Кто же дятел? Он перебрал всех из конторы, остановился на Длинной. Эта мадам с непомерными запросами была в работе только год; исполняла роль загульной девки, искала новые рынки сбыта. В какой-то мере она была его конкурентом по службе, делала все быстрее, чем он.

В пивнуху ввалилась гнусь: бабы в мятых брюках и закирявшие прогульщики горячего цеха.

— Шеф, врубай музыку и гони пиво с воблой.

Бармен с каменным лицом разливал пиво.

— Долго ждать? — повысил голос здоровяк в матросском прикиде.

Бармен молча принес пиво.

— Воблы нет, только сушки. Воблы вообще нет.

— Знаем как нет, по трехе за мальков гонишь. Тащи на червонец.

Служитель хмеля кинул зрачек на Юру, как бы оценивая — кто он, свой или тот. Взял червонец и удалился. Кило воблы в Астрахани стоит четыре рубля, здесь его кидают — пять штук червонец — по тридцати. Неплохо, но товар вонючий, поймают с торбой — не скоро гриппом заболеешь, — думал Юрий. Так кто же дятел?

В размышлениях прошел каверзный час. Компания развеселилась, сказалась пиво на вчерашние дрожжи. Юра заказал еще, по-свойски попочувствовал бармену: хамы резвятся. Не удивился, когда увидел в окно спецфургон. Вошли четверо сапог: предъявите документы. — Так, так, служба профилактики.

— Мы люди, — возмутился бухой крепыш, — может, у меня день ангела, нельзя.

Этого возьмут первым. Так и есть. Верзила в матросском прикиде закричал что он передовик и гонит план на триста процентов. Этого тоже загребут и дамочек на обследование прихватят. Угадал!

Погрузив половину пьяной бодяги в карету, сапоги подошли к Юрию.

— Документы!

— Пожалста. — Он протянул фальшивый студбилет.

— Студент?

— Да.

— Отдыхаете?

— Да.

Машину, конечно, вызвал бармен, — думал Юрий. — фальшивку надо выбросить. Спас новый костюм, а то бы поволокли. И пить надо вблизи от дома, в пределах региона прописки. Так кто же дятел? — Юра вышел.

Покойный Майкл учил его: имей всегда запасной вариант, подстра-

ховку, ловушку, чистые мозги, ни одного свидетеля и никаких ресторанов. На каждого сильного идет охота слабых. На каждый талант уже свита бечева. Но Майкл сам не следовал своим указаниям. Ходили слухи “оттуда”, что его пытались подсадить на откуп, а он — человек-легенда, романтик борьбы за достойную жизнь, а не за право “кусать клопный матрас” — погиб как гриб от холодов.

Что ж, запасной вариант у него есть: никто не видел его под фамилией, друзья знают по чужому паспорту. Деньги хранил вне дома, как и смену белья. Подстраховкой служил Племянник: дядя, спортивный и умный, имеет почему-то коварных врагов.

Ловушку для дятла Юра готовил давно. Пил редко, свидетелей к сожалению не имел.

Майкл учил: когда работаешь только из-за денег — могут уволить. Работай, голубчик, ради любви к прекрасному — к свободе от цехов и низких потолков с вяленой же. Ной только на природе, как сладкощавый шавелевый хлюст с аккордеоном по телевизору на фоне матрешек в складе балала. Правда, — говорил он, — в поисках свободы ее же всегда теряют успешнее и знамена скотского романтизма окрасят тифом и цингой твои локоны. Но полусвобода, — я верю — тебя не устроит. Бабки приходят и уходят, опера остаются для повышения на слалом. Старайся быть опером над вокалом, вот это будет ария верхнего класса. Ешь творог вместо мяса. В день — пешком не менее двадцати км, занимайся бегом, не брезгуй гимнастикой. Женский пол — один раз в квартал. Каждый апрель и декабрь для гигиены эпидермиса — на Кавказ. Помни, боится тот, кто готов к поражению. Изучай языки, право, медицину. Юрий токсично вспоминал разговор, направляясь к приятелю в НИИ.

Он проник в институтский буфет на первом этаже и вошел внутрь науки через моечную. Приятель пляжного сезона пил домашнее из термоса и листал скучные цифры. В зале мозговых машин было светло. — Привет, Славик — Здорово, Витя. — Славик огляделся — наука цветет, а мы сохнем. — Чувствуя неувыданье и силу он прошелся медля рукопожатие. — Витя, Виктор, науч.функционационер, заказал очки “поляроид”, и вот копейная услуга готова. Витя примерил очки, зарделся. Оперевая денежный разговор, Слава спросил совета:

— Понимаешь, никак не могу решить простую задачу. Семь человек строят дом. У каждого, допустим, семь свидетелей участия в работе. Один или два, это неизвестно, или все семеро хотят этот дом уничтожить. Причина — получение страховки. Взаимоотношения — родственные, подозрительные.

— Много неточностей...

— Дальше. Надо вычислить, кто именно хочет спалить дом. Вот здесь у меня данные на каждого.

Юра достал листок с цифрами и пометками...

— Задача несложная, но не ручаюсь за абс.точность.

Машина оказалась сукой. Результат был следующий. Дом подожжет или старший или тот... кто принес машине работу.

— Доверься лучше интуиции, я понял, что волнует тебя, — сказал Виктор. — У тебя же о строителях номинальные и кривые данных, и вовсе нет о свидетелях, и вообще-то дом строят в одиночку. Тогда он имеет слабость не гореть.

— Я был худшего мнения о математиках, — сказал Славик, поговорил о мелочах уюта и простился.

Завтра утром тренировка на стадионе: бег с препятствиями. Юрий завернул в новую баню, но взял билет в сауну.

Вечером зашел к Заместителю. Зам. неплохо знал Майкла и позволял себе доверительные беседы. Координировал работу вне города, имел курьеров, информаторов, дезинформаторов, массажисток, ..., ..., наверняка мог выписать пару “катюш”, дома ходил в плавках и любил сквозняки. Он тоже притерживался мысли — не в деньгах счастье. Счастья вообще нет, а есть труд во имя свободы на берегах Великой Реки.

Сегодня Юрий рассказал ему о своих подозрениях и поисках дятла.

— Если бы ты пил, я упрекнул бы тебя в неврастении. Но ты здоров, как молодая акула. Деловые люди проходят через сомнения в честности Семьи. Факт исчезновения партии штанов говорит о появлении в нашей Семье агента конкурирующей фирмы. Полагаю, бдительность не повредит. Докладывайте чаще о своих действиях, и я достану для вас сведения о каждом.

Через несколько дней Юра ознакомился со сведениями, мягко говоря, с грифом “секретно”. Его привлек Слепой и Вероника. Остальные были вне подозрений, т.к. задействованы давно, проколов не числилось, на допросах вели мудро, ценили жизнь, собирали книги, имели детей.

Он составил план проверки Вероники.

За Слепым наблюдал давно.

В один из безмозглых вечеров девушка с именем весенним и ласкательным пришла в сознание на полу кабинета.

Едва она села на стул и оглядела казенную обстановку: сейф, три телефона, решетку на матовом окне, как появились в штатском, один из которых был в галифе и в юфтевых сапогах. Через пять часов доброй беседы Вероника поведала не только о семье продавцов джинс, но и о своем грехе в девять лет, когда отравила подругу дустом из-за ревности к учителю пения, что заразила двоих красавцев, что имеет на книжке восемьсот рублей и... считает главным в Семье Юру.

Вечером того же дня молодой водила такси лежал на полу своей тачки связанный, с шубой на глазах. Машина с двумя мужчинами и одной грустной девушкой летела над безлюдным шоссе среди болот и подъельника. Таксист помнит, что машина свернула, потом долго кружила, остановилась, хлопнули дверцы. Помнит еще, что шуршала земля, снова хлопнули дверцы, такси понеслось, женского голоса не было.

В конце грустного пути ему сделали укол, и очнулся он только ут-

ром за рулем, без повязки, почти в центре города. В кармане нашел смятый рубль и записку: спасибо, ты настоящий парень.

Данные о Слепом говорили: сдает дачу, имеет дом в области, специальность: механик, шофер, санитар, бухгалтер, сварщик. Собирает значки, любит спортлото, алк. второй степени, содержит бомжовую мододку, устраивает праздники тела (баня, молоко, виноград), обожает рыбалку и валенки.

В 20 лет смерть любимой жены, в 25 мрачный кобеляж, в 30 карты, в 35 велосипед, в 40 лет пьянство, в 45 кочегар в санатории, в 50 пробуждение Любви к Жизни. Сейчас пунктуален, отрабатывает страховку.

Юрий рассматривал рисунки в атласе “Птицы державы”. Вот глухой соловей, синица, пузатый гусь, надменный пеликан, вот лебедь-бе-долага, слюнявые певички бесславие создали для него, вот воробей, как точка тишины суземья, аист долбоносый, не знающий о таинстве рождения, чирок верглявый, ласточка-милашка, билет трамвайного проезда, и... дятел вот. За что же ты, пернатый трудолюб и похититель тишины лесов, попал в аргю подгородского мира. За что же называют именем твоим тех, коим имена: стукло.

Заместитель показал сводку. Цены на джинсовый прикид падают с 240 до номинала. Цены на кожу растут. Кожа, штаны, лайк, пиджак, яловые туфли по предварительным подсчетам Сизого от номинала возрастут в следующем году в 6-10 раз. Пора строить подвалы, товар в пути. Джинсы скоро придется сдавать в утиль-пункты в обмен на хозмыло. Итак — кожа, и на горизонте — натуршёлк.

Мы должны заботиться о внешнем облике горожан. И пока гризетки из “Пассажа” гонят план на ватных свадебных колготках и торгуют пластмассовыми лифчиками, быстрее оденем трудящихся в натуризделия, придающие балетную стать чабанщице из Тунгуски.

Юрий вспоминал Майкла: мы не бандюги, не держатели волюны, не вставляем жертве паяльник. Мы всего лишь радетели экстерьера ближних. Пусть оденется школьница в платье из элегантного ситчика, пусть юный прыщарь пойдет на свиданку в джи “Леви”, поможем безбрачной вдове обаять безумным туалетом пажа втрое моложе. Пускай старушка дотатится до театра на премьеру пьесы “Думы шахтера” не в облезлом шушуне, а в итальянской накидке. Пусть фонд амура поймееет все принадлежности единственной радости, а кандидат наук убьет коллег галстуком из Гонконга (60 рэ). Мы несем свет и добро. У нас низкая работа, рискуем больше, чем получаем. Каждый третий может залететь, каждый второй может предать, каждый потеет во сне. Вторая торговая действительность существовала всегда. И если бы ее не было, по главной невоской авеню ходили бы в спальных мешках и в кепках из обоев.

4.08.1977 года в 15.45 солнечные лога закрывали город от дум. Юрий вошел в Д.Л.Т. и протиснулся в отдел “Мужские шмотки”. Потребовал у зав.отдела: помогите подобрать импортный костюм в три белых нитки, натуркожпальто, еще я хотел бы купить голландскую демитобувь, за-

тем посоветуйте что-нибудь из японских галстуков и полдюжины финских сорочек (хлопок), и одну китайского шёлка.

Его трезвый взгляд испугал калушного купца, тот кивнул, исчез.

Юрий знал: сейчас набирает номер на семь-восемь, бодаются кишки: внутренний наряд. Юрий также знал, что за ним уде несколько дней идет телега.

— Пройдите в примерочную, — сказал зав.секцией. — Вы от Зифы Макеевны?

— Нет, я от Ивана Григорьевича.

Нет никакой Зифы Макеевны и в Макеевке. Юра дерзил, нагнетая удушье. В примерочную протянулись крепкие руки и сопроводили его в тесную комнату.

Требовался конфликт на грани. Юра создал его, не преступая строк УКа.

По служебной лестнице его вывели и посадили в газон. Он успел заметить открытое окно, собаку без поводка, девочку, грызущую ногти и... велосипедиста. Что ж — думал Юра — я сработал славно, свои при- ставили велосипед.

В клетке певчих он и проблевался от вони; солидный мужчина глотал страницы записной книжки.

Беседа закончилась извинениями.

Дома он почувствовал усталость, принял контрастный душ и нырнул в сон.

Через время проснулся. Ночь, Тихо. Живая луна светила сильнее светила. Что-то мучительно ворочалось под правой лопаткой. Открыл окно и сел лицом к ветру. Он вдруг обеспокоился за молодость. Ему причудилась картина моря: он с немой девушкой лежит у теплого моря на песке. Девушка бледнеет в его объятиях и затихает. Он бежит... Да. Но куда же он бежит, если она умерла? Он бежит к телефону, но по дороге задевает плечом разносчицу тити-мити, и она умирает, а потом бледнеет. Задевает дерево, прекрасную секвойю, и она стонет, белея с корней и дрожа сильным телом. Погибает. Он подбегает к телефону. Аппарат успел тихо звякнуть и тут же рассыпался. Фигура движется с дорогой, а вдали огромная яма, там, где кончается путь, другая дорога. Перед ямой стоит большая тарелка с грушами и над тарелкой летает дятел, эта птица почему-то без лап и без головы, но она видит груши и чувствует яму. Человек подходит и съедает грушу. Дятел падает в яму. Куски проглоченной груши превратились в осколки стекла, они крушат внутренности, телефона нет, секвойя рухнула, море отступило. Боль осталась. Луна плавно шуршала над парком, удаляясь по личным делам.

Юрий прошел в коридор, поднял штангу. Стал приседать. Раз, два, пять, десять, пусть всё устанет, тридцать, ослабела спина, сорок шесть, вспотел лоб, сто два, надо сделать двести, сто шесть, куда пропал товар, нет хватит, механизм не починят...

По пути к Слепому человек в импортном костюме из интеллигентов

(роговые очки, портфель, штиблеты) с лицом окровавленным, брызгая изо рта кровью, вопрошал у стиснутых раб.трудящихся: хотите, я всех развеселю, а то вы чего-то сонные, понятно, на работу никто не хочет вставать, вечером перетрудились с голубкой, башка болит, кому охота снова уткнуться рыло в кульман или там на стружку глаза пялить. Всем хочется широты, свежего неба. Пассажиры молча разделись на две группы. Первые сладостно потакали Очкам, вторые боялись звуков. Очки брызгали на всех клюквой из носу.

— Что притихли, веселье забыли, а в курилке шустрые истории, небось, затаив сердце, слушаем? Чем же здесь не курилка? Жил-был начальник, и вот пришли к нему сразу три беды. Жена изменила, с работы выгнали, и квартира сгорела. Ах, сука, думает, ну зачем жить дальше? Пойду в парк вешаться. Дело было ранехонько. Никакие рожи не шастали, тихо и славно. Осень — значаца. Эй, водитель, не выпускай никого, пусть послушают. Только закинув петлю, как откуда ни возьмись, Баба-яга. Чего ты надумал, грех-то какой, мил человек, говорит из ступы Яга. Рассказал о своих бедах начальник. Хуты-нуты, и всегонто? Беда поправимая. Враз помогу, но сначала ты помоги вспомнить утехи молодости, порадуя телесно старую пердуню. Делать нечего, потрудился начальник, закрыв глаза. Закончили. Баба-яга, радостная, косичку заплетает, напевает что-то, залезая в ступу, помело берет. Начальник говорит ей, ну а теперь ты исполни свое обещание, уговор сдержи. Яга взлетела, покружила над ним и покачала головой: сколько лет тебе? — сорок — видишь, сорок лет, а все еще в сказку веришь. Водитель, не открывай двери, я не развеселил еще народ.

Пассажиры, кто с ужасом, кто с подозрением смотрели на избитого человека. — Внешность бывает обманчива, сказал ёж, слезая с половой щетки. Кто-то ломал и сломал двери, несколько человек спрыгнули на ходу.

Очки продолжали дразнить публику. Кто знает, сколько стоят джинсы? Поди пол-автобуса в этих кальсонах ходит! Самые лучшие в переводе на рубли по официальному валютному курсу 13 р. 40 коп. А вы берете их за 210 рублей, почти в семнадцать раз переплачиваете. Нехорошо, а откуда такие деньги.

Юра ликовал: молодец, так и держи.

Голос Очков вдруг стал холодным:

— Почему же никто меня не остановит, не скажет, что нехорошо себя ведете, молодой человек, что вы наверно приезжий, что приезжало всяких хамов в наш город, что мы поргитм исторические фасады, что пошли бы сначала в библиотеку, поучились бы... а я вот как раз из библиотеки еду, и между прочим, тот, кто город заложил, тоже приехал сюда откуда-то... и вот город заложили... Очки придали слову особо зловещий смысл: заложили.

Заплакал ребенок. Открылись двери, автобус опустел наполовину.

— До галошной фабрики еще далеко и я вам расскажу анекдот. Если

кто уже слышал, поднимите руки. Ага, никто. В одной лазурной стране собрались как-то начальники, стали делать заседание. Начальник леса выступил первым: друзья, сказал он. В нашей милой стране лесам грозит уничтожение, я предлагаю в целях экономии древесины, хоронить без гробов. Отличная идея, сказал суперначальник. Коллеги, выступил начальник еды, много земли пропадает зря для кладбищ. Надо расширять пастбища и посевы. Предлагаю хоронить стоя. Гениально, сказал супер. Так и сделаем. Я предлагаю — выступил начальник ископаемых гор и ущелий — в целях экономии гранита хоронить без памятников, закапывая по пояс. Потрясающе, воскликнул супер. — В целях экономии металла, который идет на ограду могилам — выступил начальник железа — я предлагаю закапывать взявшись за руки. Итак, сказал супер, — сказал окровавленный человек, — будем хоронить без гробов, стоя по пояс и взявшись за руки. Кто против, — почти выкрикнули Очки. Никто не поднял руки.

— Я, — сказал Юрий.

— Мое почтение, вы единственный смелый человек.

Очки и Юрий вышли. Дворами, подъездами.

— Я проверяю Слепого.

— Знаем. Почему долго молчали?

— Куда делся товар?

— Его увели другие. Но он вернется.

— Они приставили велосипед.

— Это наш человек. Звоните в 5.03. Сверяйте часы.*

Лакировка красным. Пшеница колосится. Бараны в степи.

— Хочу отдохнуть за городом.**

— Вас скоро повысят в должности, с портков перейдете на сено.

Юра забыл, что означает сено, не спросил ничего и повернул к дому Слепого.

Он положился на импровизацию, на случай и натиск. Условные звонки и вот они на кухне. Слепой продолжил кормление собаки.

— Есть похмелиться.

— Ты же знаешь, я не пью. Что-нибудь случилось?

— Знаешь сам не хуже меня.

— Или не лучше тебя...

— Скажу прямо. Мы подозреваем тебя.

— Если пришел мочить — не выйдет; это я в свою очередь подозреваю тебя.

Юра взял чайник всмятку и швырнул в собаку.

— Внизу мои люди. Сейчас мы посмотрим на твое равнодушие.

— Напрасно покालечил собаку. — Слепой схватил вилку.

* Меняйте жильё. Вам грозит ликвидация. Деньги получены. Кожа-ные изделия заказаны.

** Ускоряйте проверку.

Юра не горячился, это пугало Слепого, который не раз трудился штыком. Слепой чувствовал — Юра пришел не для мокряка. Тогда для чего он здесь? Юра сильнее и выше Слепого. Юра встал с графином. Но и это не испугало Слепого. Он сидел спокойно и пытался задействовать логику, та ускользала. Юра холодно бросил графин в собаку, та, заливая ожоги, взлаяла и мотая языком погасила движение.

— Так что надо?

— Мы всех проверили, остался лишь ты, все сходится, говори, кто перехватил кальсоны?

— Папа с мамой.

— Тебе хорошо платили, ты сделал ку-ку.

— Докажи.

Юра, человек с неизвестной биографией, — открытость жизни означает зависимость, — Юра, человек в младенчестве со шпагой, в детстве с букетом, в юности со щитом, в молодости в турнирах тихого зала; Юра, человек с коэффициентом интеллекта 2 (ноль у кретина, десять у создателя), Юра берег в клетке диалог с вечностью, он приподнял Слепого и аккуратно стал душить хозяина. Слепой схватил его за руку и, освобождаясь, напрасно прокричал первую букву. Его крик был рожден осязанием огромного бицепса, неограниченной мощи, величиной мышцы явно нечеловеческой. Пальцы тряпичника подстилались к адамову фрукту, они только слегка нажимали на шею Слепого и вызывали раду-гу детских рисунков.

Эпизод удушения был нарушен звоном стекла, на полу трепетал за-летный голубь.

— Видишь, это голубь, — хрипел Слепой.

— Это дятел.

— Нет, это голубь, смотри.

— Это дятел, — шелкал суставом гость. Он скосил голову и глаз.

Что-то ужалило в ногу, собака, он переступил, газовая плита подошла пиджак. Юра переступил еще шаг и споткнулся об удар в пах. Его снова ужалили. В окно влетела стая голубей и стала клевать головы танцующей пары. Один с посиневшими губами падая подставлял ногу, ускоряя паденье; другой, ужаленный, с дымищимися одеждами вел непонятный фокстрот. Птицы шуршали и пух залеплял живые отверстия. Пара стукнулась головой в стойку с цветами, затем обрушила шкаф с кухонным канцером, зацепила ковер со стены, тот рухнул под ноги услужливой пумой.

— Дятел.

— Голубь.

— Нет, дятел!

— Сука, пусти!

У гостя развязался шнурок, он снова споткнулся, темп фокса ускори-лся; откуда-то выпали лыжи. Задымился диван, удушье усилилось.

— Где кальсоны, где импорт?!

— У начальника.

— А кожа где? Там же?

— У Майкла она.

Это стало инфарктом для фарты; снова буква алфавита, буква ангина — Аа, а! Покажите-ка зев, так, теперь букву Бэ прошипите, затем букву И. И кто же остался на крыше?

— Майкл. Он вышел из леса недавно.

Юра барахтался в пепле костюма, в перьях, среди звона птиц, запотевших глазниц, странный такой пан-спортсмен, чаевник с пальцами на кадыковом бугре хозяина. Вам чашку кофе? Нет! Чая? С лимоном! Лимон — это ведь миллиончик юксовых. Как по — и проживаете. В деревню недавно слетал, давненько у тетушки не гостевал. Там-сь коросо, яйки и млеко! А воздух-то, воздух-то прямо благо, да и дать отдохнуть стоит сердцу; на зелени покорячиться с ласковой дролей. Сумять и по-листно: там хорошо, где нас нет. Где нас нет? Мы везде, здесь — пока, завтра в новых логах. Наша служба вразрез с общей дружбой...

Мужчины: один в дымящемся, другой в посиневшем костюме лежали в шкатулке серого, липкого быта вопросов.

— Майкл не улетал никуда.

— И на пеньке не сидел?

— Значит — да!

Они отцепились. Звонкая оплеуха навестила лицо гостя.

— Сука всегда была сукой. Проверки, дерьмыш, мне устраивать. Я, те, курва, стервач, подавлю волос на проплешине мысли.

— Ладно собачиться. Дело серьезное, нас теперь заметут. Майкл способен вложить. Что такое топтун, ты не знаешь?

— Это кто в глубоком снегу вокруг елей и сосен снег топчет для пильщиков на севлесоджунглях?

— Добавлю, малышка, что топтун самого малого роста. Снег по шею. Ты же, тварюга, мне тюльку гонишь про дятла.

— Извините, насыльник, накладка.

— Шутки по боку, время в окно смотреть.

Юра смотрел на ворота рабзавода, из оттуда выходили вовсе несвежие лица. Куда пойдут они сейчас? Кто помолже — за новыми шмотками, чтоб потом проблистать своей прытью и статью на танцевечерах, музпосиделках, в горелки горюнистых слякотных дум поиграть, пока молодь не сжухнет. Те, кто мудрее по возрасту — сосунков напоить, посидеть на тахте перед ящиком, чтоб во сне восхититься игрой Пахтакора и на завтра в курилке, где мыло с опилками пахнет раненным детством — назавтра поспорить, что вид футбола прекраснее вида Стокгольма. Юра думал: жизнь-то одна; отмусолить ее по дырявым подушкам, что дарены кем-то когда-то, прочаевничать деверя, свекра, скрип дверей над распахнутой душевой утильной, писк и ржа, постоянное ржание станков, рецедивный аванс, метр детей у жены; север, юг, другие востоки закрыты. Март похож на февраль, жизнь на псины кусок, июнь и ян-

варь — колыханье покладистых ветров души. Скучно, чай, и — пора выходить, Майкл учил: работают все и всегда: боги для звезд, муравьи для личинок, люди не боги, но... еще и не мир на-секомый, мирно секомый. Если личность имеется, то эта личность должна возвышаться, но только не... над головами прохожих — тогда не сносить тубетейки — а над головами страстишек: шмотки, деньги и рваной бытовки угар — это не жизнь. Марки, книги и спорт — это дрянь; дети, дом — это бред. А свобода и ветер, который несется над плешью миров, это — да! Но свободы без денег уже не бывает. Ибо там и, конечно же, сям стакана тебе не нальют. Можжевеловый торт не приснится. Солнце скроется, если нищ ты, луна не взойдет и лиса поседет, в лесах. Так что главное — это работать, но самое главное — знать на кого. К нам идут идиоты, они надеются, получив тыщу-две избежать заварухи, убежать на юга, чтобы там промотавшись за месяц, фельетон о себе написать и покушать березовой каши, не манной. К нам кретины идут, из тех, кто пытаются стать мафиози, им место в подвале на угольной куче. И вот самое самое: к нам иногда прибывают такие, как ты — непонятные люди, энтузиасты штыка вперемежку с добродетелью мата. Кто они? и куда, на кого они... смотрят. Все работают: ты на меня, я на тех, те на этих, все трудяги, согбенны в потуге избавиться от близкой старости, от подворотни, инфаркта. Я для вас, вы для нас. Но среди вас попадаются те, кто не любит ни тех и не вас, попадаются, те, кто вообще не желает работать, умом. И они попадают в лапы и наши и ваши. Выпьем за радость последнего крика ура.

Юра знал, что Майкл сам работал; он знал: непонятные люди — это слабые люди. Одни работают из-за страха, другие — мстят за отвергнутую привязанность, некие — в надежде обрести стабильность; работают, считая, что они герои свежей повести. Работают в серости своего уюта, ради новизны чувства, авантюры. Юра понимал: если трудиться для денег — увлеченность погубит, если работать для семьи — дети на уроке чернилописанья в сочинении “Я горжусь своим папой” накатают талантливый донос, и петь тогда под платком с какаду. И снова проезды, пробеги; хождение. Кто же дятел? Ведь уже все понятно. Птицы все, одна произносит ку-ку, а другая молчит. Сова. Трясогуска. Снегирь! Мир огромен, но только для тех, кто еще не рожден. Мир надежд — для невежд. А быть может...

Приказ выехать в Душанбе ему передал Слепой. Мы проверили вас, нам ты доверяешь. Самолетом через два дня, сегодня едем на Дачу.

На веранде в нанайском костюме Майкл читал лекцию для группы действия. Позже пошли гулять. Юра знал: сейчас разговор о природе излишен. Сейчас начинается: или важное в жизни, или — конец.

— Скажи-ка, мой друг, что ты думаешь обо мне.

— Я уважаю вас, Майкл!

— Это ложь. Ты сейчас думаешь; сидел я или стоял, там, далеко от вас, ближе к вам.

— Что вы, Майкл, я помню все ваши наставления.

— А ну-ка главные?

— Главное — это свобода ума и сердечных волокон. Слабый кончает как дятел. Ум не выдержит стольких ударов. Сильный — способен на все...

— Поясните!

— Главное — это летать, ощущение полета.

— Снова не ясно.

— Хворый классик, чихая, изрек — рожденный летать пусть летает, я позволю, тот, кто ползал — уже не поет.

— Классики слова играют, как в школе. Вы тут все распустились, вас приструню. Что за язык, поясней, поточнее, работайте умственной чухшой.

— Птицы все, одни обожают зерно, другие руно под ярмом. Те, кто проще, поют, процветают. Кто кукует, тот много берет, но и меньше живет. Дятел — не птица, у той ведь голодный полет, закружалость высотных штрихов, одиночество, явь — безоглядна...

С дороги донесся ружейный треск, или всплеск. Дятел пал на колени. Майкл подошел к Юрию, протянул ему тушку. Вот он дятел! Сгорбленный, тощий, облезлый, и вовсе не тот, что мы ищем давно... Пора к самовару, а после снова о деле. Шкуры нас в сауне ждут, ночью купанье, сон и немного вина.

Возвращались из сауны. Юра и Майкл отстали. В самолете возможен свояк, по прибытии — пенье. Доверяй интуиции, я доверял и как видишь — живой. Проследи за погрузкой сена, чемодан не бери. Берегись балерины, газетчика и киоска “Обувь-ремонт”. Ты заметил давно, — я давно это знаю, — что киоски башмачников установлены в стратегических точках. Все расскажет на месте Арроном. И еще, не обидься, вагоны дошли, все в порядке, так было надо, за психтравму оплатим каникулы. Возможен в самолете инцидент, не вмешивайся даже, если стнут раздевать... Ну и хватит. Они остановились у реки.

— Юра, тебе никогда не снился сон, будто сидишь у окна с видом на парк под луной, а потом ты бежишь к телефону, а потом задеваешь секвойю?

— Снился.

— Значит, сено хорошее; мы угостили тебя, когда ты был в развале; фрукты, овощи, юмор.

— Не грусти, может быть...

— Мы не встретимся, я ухожу на покой.

— Однажды муж женился на жене, которая вышла за него замуж. Как-то муж говорит: у меня, киска, есть лишняя тысяча, давай купим палочку! — Давай лучше шкафчик! — Нет лучше купим бобика, топор и счастье. — Давай счастье купим потом, ведь нужнее сначала бобик, топор и шкафчик. — Ну и дура ты, милка. Какой же уют без топора и

шкафчика? — и без тыщи. — А в это время старая жаба сидела в подвале и пила ликер; а кот Мурзик играл в домино со своей тенью.

— Грустная иносказательность, — сказал Майкл.

Самолет в Душанбе. Лет. Лимонад на заказ со льдом. Юра развинтил галстук, снял пиджак. Пытался задремать; душно и липко; чечеткой носок об носок, внизу коврик и вовсе гектары полей, пашен, жнивы, крыши и крышки над медленной и стремительной медной жизнью.

За иллюминатором — колодец, и засушенный тополь, ни травинки, только кучка песка. Ветер стих, старые кирпичи. Он опускается в дворовой колодец, а вместо земли письма, снимки и портсигары. Вместо песка пепел денег, вместо домов лишь высокий забор. И все это осталось от тех, с кем дружен был, от тех, с кем веселился, пил и полоскал гортанный песни звук в надежде, но на что — не знали те и эти. Он выбирается к водопаду и смотрит на сильную спину воды, упругую, чистую спину силы, он отходит от пада и входит в квартиру Слепого. Слепой говорит: Майкл — это я, Майкл — это ты, это — мы. Стяжимость волчьей стаи человечьей по насту бегов на постоеке заката, шкура и хлеб, мясо и деньги, литер и книга, телекс и фон.

По Невскому, по Перспективе гуляли юнашки, разодетые, раз, раздетые и обутые в востокзапад. Дерьмо. И каждый из этих юнашек вспоминал слова Майкла: слова — западня: главное — хорошо выглядеть, выглядеть хорошо — не главное, главное — отплясать в джинсах, степях, колготках, саваннах, в горах, метрополях. Тротуар жаждет навоза, дадим. Он имеет шляпку — сварганим Мода — это танец удушья. И еще, говорил Майкл, все работают; помоги же, создатель, опознать сутенера моих подопечных, мелких пьяниц, скобла.

Юрий знал: сейчас оторвется крыло авиплана и все полетит в кино к эскимосам: чемоданы, жите и его запоздалая мысль — для чего дятел ищет жуков в городах. Юрий знал, помнил, чувствовал.

Он был честным человеком, как и все; был. Все. Ничего. Озеро. Пламя. Дом. Имя. Наташа. Водила. Лопата. Рубли. Шмотки. Мышцы. Бег. Стадион. Гарь. Дно. Корень. Зло. Я не ставлю глагола.

Все. Ничего.

Я, думал Юра — Игорь — Катя — Володя — Гена — Олег — Тимофей — Николай — Майкл...

Я, думал Юра, ведь я, как мало и как суетливо; из всех известий только крысы заедают друг друга, бумага — сознание, топор — чудеса.

Крыло рухнуло вверх, вслед падает голос Майкла: встречает кретин идиота и спрашивает: как вчера повеселился? — Ничего, два стакана спирта засадил, где бы сполоснуться пивом? А ты как? — Дрянь дело, приехал родственник, молодой, пить не умеет. Нажрался, как собака, и сдох к утру. Где бы в долг на похороны раздобыть?

На другой день идиот видит кретина. — Ну как вечер прошел? — Да ничего; зашел приятель, посидели, валидолом закусили, спели. А ты, — Счастливый ты, идиот, а я и песни забыл и на валидол нет денег. Одеко-

лон у соседа спер, хотел здоровье поправить ночью, да забыл, куда спря-
тал, хожу злой-презлющий.

И еще через день идиот кричит кретину через реку: смотри, дурак в
омуте купается, вроде трезвый, зачем в омут полез. — Ему через реку
кретин отвечает — Так на то он и дурак, поскольку трезвый в омут ле-
зет. Ведь мы ж лезем только по пьянке, ночью, после одеколона, с зуб-
ной болью, прогуляв работу, после ссоры с женой, перед пожаром, дома.
— Идиот отвечает — и то верно, все-таки мы умные идиоты и кретины.
Дурак же все это слушал и сказал: конечно, идиот умнее кретина, а кре-
тин находчивее идиота; но пока вы жаритесь на берегу под солнцем, я
наслаждаюсь купаньем. — Кретин и идиот обиделись, прыгнули в омут
и утопили дурака. А т.к. глупцам не место в чистом омуте под солнцем
— все они утонули и найдены были далеко от места спора в каких-то
льдах, как находят до сих пор бивни мамонта, сказочного, но трезвого
животного.

Пролетая над лесом, Юра видел птиц.

Падая на лес, Юрий закрыл глаза.

Владимир КОНСТАНИАДИ

ПОРТРЕТ НЕПРУХИ (1951-1984)

Я знал Игоря Непруху не только по рассказам. Мы даже с ним дружили — месяца четыре. Он был забавным типом: угрюмый до невозможности. Лишь иногда на него накатывал спазм веселья и он судорожно смеялся. Тогда Непруха становился почти страшен. А в целом он казался в бытовщине жизни простецким и незатейливым парнягой. И разумеется — неудачником. Отсюда и жаргонный псевдоним — “Непруха”, а настоящая фамилия его — Неслухов. Я говорю о нем в прошедшем времени потому, что Непрухи — увы и ах — уже не существует. Он погиб при крайне глупых обстоятельствах, правда, такой именно гибели и следовало ожидать, она никого не удивила, хотя некоторых все же расстроила. И первым она расстроила его самого. “Я не рассчитывал, конечно, на кинжал Дантеса, — хрипел Непруха (у него была тройка в школе по литературе), — но такого подлого удара даже я не заслужил...” Мне понятно его глубокое расстройство: он умер, отравившись грибами...

Что же характерного можно отыскать в этой судьбе? Затрудняюсь с ответом, поэтому просто перечислю то, что знаю.

Он никогда не кончал университетов и не начинал их даже. Не мог похвастать памятью и путал имена всех трех Толстых, Пушкина величал Александром Ивановичем, а Гоголя — то Василь Васильичем, то Николай Николаичем. Впрочем, любил, кажется, кого-то из обериутов (неизвестно кого), недозрелого Маяковского (полтора-два стихотворения), зрелого Хлебникова (полторы-две поэмы) и перезрелого Белого (полтора-два тома мемуаров). Современная литература начиналась для него с “Москвы-Петушков”, а заканчивалась Кольмой-Магаданом (т.е., песнями бардов). Из “вечной” классики предпочитал всему смачные куски из Франсуа Вийона и сочные ломти из Франсуа Рабле. Но, в общем, мало читал и не уставал повторять, будто пишет только из слабости, как больше ни на что не годный человек.

Честолюбия он был лишён, как евнухи — гениталий. Он сознательно совершил над собой эту ампутацию, дабы не берeditь душу подглядыванием в щёлку за публичной литературной жизнью. “Мне даже не иметь общественных оргазмов, — говорил Непруха, — как кастрату не иметь арии Мефистофеля.”

А что же остается? Посмотрим.

С утра — основная профессия. Кочегаром. (Позднее повысил свой статус, из кочегарки перебрался на чердак и на крышу — стал трубочистом.)

В обед — битва с гастритом в рабочей “тошнилровке”. Побеждает ес-

ли не дружба, то некий временный “общественный договор”: ты меня, а я тебя не трону до вечера.

Потом — говор матюжный в общественном транспорте: ты меня, многоточие, локтем под дых, а я тебя, многоточие, “дипломатом” по яйцам!

Вечером — законный релакс. На выбор — три грации: бутылка “синего крепкого”, красномясная свинарка на черномбелом экране или фиолетовая вязь авторучки по чистой бумаге. Последнюю сравнивал с башней из мороженных мамонтов на рыбьем меху. Другими словами “искусство для искусства”, хобби для тренировки духовного хобота. Говорят сейчас это можно, когда не вразрез, или если никто не узнает.

Ночью — стандартный кошмар по жнитве сновидений скачет звонкий роскошный бабец без узды, Непруха взлетает над крупом и бьётся, бедняга, под приговором копыт.

И так — без конца. Вернее — до грубого гробового грибного конца.

Произведений от него осталось немного: ненапечатанная повесть, дочка, самодельная трубка, сборник непечатных стихов, горстка рассказов, да щепотка смешных выражений. За исключением трубки и дочки от всего этого трудно ожидать в будущем какой-то пользы. Непруха — отдадим ему должное — был не дурак, т.к. сам это знал от начала, знал и даже ценил, по-своему, место неудачника-трубочиста.

На это способен не каждый.

Разумеется, Непруха не первый в мире литераторствующий кочегар, и есть все основания думать, что не последний, но он был кочегаром по убеждению и трубочистом — по нутру и по страсти. А страсти — по Непрухе — вещи метафизически безнадежная, но эмпирически неизбежная. Покорность карме, считал он, экономит силы и не противоречит дхарме, т.е., Закону (в том числе и закону о праве на труд). Все, что сделал он в литературе, можно обозначить одной фразой: трезво (бутылка “синего крепкого”, конечно, не в счет!) описывал ситуацию. Да немножко позволял себе обыграть это действие, дабы не заснуть и не дать остановиться ходу мысли, и — с другой стороны — не тронуться от бессмысленности и ненужности самого факта исхода ее.

Был ли в таком случае Непруха паладином искусства? Сомневаюсь. Ибо истый паладин обязан быть счастлив, занимаясь своим ремеслом, и еще более обязан — серьезно к нему относиться. А вот что написал Непруха в поэме из сборника “Заученные рифмы” (Члениздат, 1982 г.):

“.. Ведь что такое есть ”искусство”?
Реальной жизни плагиат.
А в ней — свои марсели прусты,
бодлеры блоками стоят;

бальзаков — целые базальты,
толстые — сила сего мира,
войны уэллсы, тюрем — уайльды,
и трёшками трясут шекспиры..."

Но не был он и оптимистом-эмпириком. Скорее — фаталистом, до отвращения ясно предвидевшим свою, отнюдь не романтическую, кончину. Да и не только свою. И здесь вполне уместно закончить рассказ быть может не слишком удачными (что, впрочем, естественно) строчками из его "Медитаций" (цитированного сборника), но весьма чётко отражающими жизненное кредо Непрухи, кредо любомудрствующего идиота:

"Лишь бренность вечна в этом мире,
ждёт всех заслуженный П....ц.
Еще вчера бренчал на лире,
стихи тачал, торчал в ОБИРе
и фал качал как огурец..."

"... П....ц нечаянно нагрянет,
когда его совсем не ждёшь —
в пороке ли увяз, как вошь,
в пророки ли пророс из дряни.
П....ц — не баба, не обманет,
певец из пепла не восстанет,
и не достанет его ложь."

В.К., СПб, октябрь, 1984 г.

Игорь НЕПРУХА

РАССКАЗ БЕЗ ТУФТЫ

Обрыдло всё!.. А, впрочем, всё ли? Не надоел пока Неаполитанский залив, не надоели Гавайи и Канарские острова, не наскучил игровой зал Монте-Карло, охота на слонов и на слонах, гарем шахиншаха никак не мог надоест. А кругосветные круизы, завтрак из лангусты, запечённой в сумку кенгуру, бой быков со стриптизом... да мало ли что, как и с кем?! Но это лишь миражи-витражи завклуба кинопутешествий и сладких снов после бутылки с горьким содержимым...

Но не ждать же заморских послов иль найдёныша дядю-миллионера; вернулся живым с трудового фронта, съел свой законный суп, похлопал пальцем в газете свежие козны гниющих врагов и... что? В том и беда, что мало нам, болезным, законного супа и голодных китайцев, подавай нам, гаденьким, ещё и ентую... литературу, одним словом.

"Ну зачем же так? — спросит нас тот, кому, видно, бог велел с нас

спрашивать. — Вот ведь вокруг кина да спорты разные, кружки культур да спичечные этикетки. А то — за книжку взяться: как плохо было при царизме и как вольготно на лоне природы.”

Всё верно. Не брезгуем мы ни киной, ни царизмом, но и этого нам мало. Вот и сидим по трухлявым душам коммунальных квартир и чирикаем “шариком” по дешёвой бумаге. А главное — неохота нам, подленьким, университеты Горького проходить, что ж до Союза, то Союз нам и после бадьи не приснится: ибо легче верблюду империализма пролезть в игольное ушко хамонизма, чем нам в Царствие писателей попать!

Так и сидим, дурачками прикидываемся, пишем из-под полы свои бяки. Потому: сублимация!

“О чём хоть пишете?” — спросит всё тот же добрый допросчик. Нет, дяденька, мы тебе не скажем, сам, если хочешь, подглядывай!

Но о чём всё же пишем? Говоря между нами... (кстати, кто это там сидит за вами?). Между нами говоря, пишем о том же, что и все — только хуже. Да не тем хуже, что бездарней, а тем, что наглее и злей (редактор не зарежет, читатель не осудит), и в итоге-то — лучше, но (вздохнём) — для кого? Значит, хуже. Мараешь стало быть бумагу, сюжеты тасуешь, словеса расплетаешь... Зачем? Мудрое радио объявило: сюжеты дает сама жизнь! Дура ты, радио! Разнорядки-то капают сверху, где, как известно, сверхжизнь, нам не даденная.

Но от этой жизни мы, товарищ полковник, пока не отказываемся, и даже хочется самому дать несколько правдивых бытовых зарисовок без начала-конца, покуда не канул в безбытность. О, быт того стоит! Он всех переживет — и подлючек-писателей, и полковников, и шахиншахов...

Как-то, лет несколько — неважно — назад, проснулся я с мыслью, что писать ни к чему, игра не стоит электричества. Даже не поленился съездить к Додыру — поделиться ночным откровением. Он улыбнулся своей подагрической улыбкой:

— Ну, так подай пример.

— Рано, — возразил я, — идея недоработана, придётся ещё пописать напоследок...

Додыр скушно пожал плечами. Станный старик. Прожил уйму лет и денег, видел необычных людей, а ничего путного за свою жизнь не написал. Мне бы столько материала. Война и мир! Пастернак разводит крыжовник, Ахматова — поклонников для согрева старческих костей, Олеша клянит мелочь, Зощенко заигрывает с дамами, Мандельштам подпрыгивает, чтобы дать по ряшке Ал.Толстому, Фрост опустошает холодильник Пановой, Колдуэлл демонстрирует жену-индеанку, Хармс машет руками, Н.Саррот — ногами, Роб-Грийё еле ворочает языком... А историческое турне по Беломорканалу! (опять грандиозная пьянка) и т.д. и т.п. А сам Додыр что делает? Видимо, заигрывает, демонстрирует, машет, ворочает и т.д. и т.п. И все это вместо того, чтобы сидеть и стро-

чить мемуары. А что он написал? Это чуду подобно! Всё какие-то мудрёные штучки, письма да рассуждений кусочки и всяческие смехуёчки. И ни звука о том, о чём я упоминал. Неглупо, да, и стиль на месте, но никакой экзотики. Понятно, что почитателей у него больше, чем читателей...

Так о чём я? Ах да: писать ни к чему. С этой мыслью я шёл в одно известное заведение, где самый высокий процент стукачей на долю населения. Там, конечно, пиит кофейный Витя Халяви, злобный мальчик Митя Чайник и прочая сволочь. Стою я с Сашей ЗПТ у входа, расточаю интеллектуальные флюиды, гляжу: бородатенький, хроменький — Люцифер подпольной поэзии — маэстро Загогулин собственной персоной. Трость выписывает на асфальте каббалистические знаки, сам — то подпрыгивает, влекомый напором внутренних сил, то сгибается кривулькой под бременем мирового зла. Бедный! За ним — мяконький, пухленький, как пасхальное яичко без скорлупы, Васенька ТЧКа, бывший божок Додыра, а ныне — госсекретарь литературного Аида.

— Ага, — говорю я. — Соборяне? А мы — литературные хулигане!

Не внемлют. Витают в облаке транс-ренессанса. Но и нам пора. Пока ножом не пырнули. Помню, видел их в последний раз на новоселье у Юры Адюльтерина. Это такой самодовольный, котообразный, богемный тип; и зачем-то пытается прозу писать. Который год должен мне 15 рублей. Так вот, устроили там чтение по кругу: Загогулин, Чайник, Киприотов. Ну, известное дело, только и слышалось: “крест-окрест”, “грядёт-Искариот”, “рождество-естество” и прочие перлы. Чайник смотрел на меня как удав на каракатицу, но обошлось. Даже Халяви не полез в драку, когда я не угостил его сигаретами. А вообще всё было очень мило: я втихую играл в Стёпку Разина на бивуаке, Адюльтерин играл в Хлебосола, кто-то, не помню кто, изображал утомлённого славой гения... впрочем, возможно это был я, хотя клясться не стану. Все отработывали свои роли, только Додыр с Лёшей Лепёшкиным да Адюльтеринские жёны не играли в посторонние игры. Сквозняковская не без грации обливала нас чаем и шёпотом читала стихи, вслух же она не посмела. Зато Загогулин (вот уж не суди по внешней тщедушности) потрясал голосом табачный ковёр у потолка, Киприотов очень киногенично откидывал назад волосы с бледного лба эпилептика и пророка и процедил, когда я стал собираться, что называется, посреди стихотворения: “Кому невтерпёж, пусть уходит”, словно подписал мне смертный приговор. Этот вечер мне здорово нагадил, т.к. я продолжал ходить на умные пьянки, уверенный в своей безопасности. Осечка вышла на очередной свадьбе Вовы Толстого. Неприятно об этом вспоминать, но, оставшись живу, я больше не пью с литераторами.

Вставала в полный рост проблема мужской дружбы. Эрекция была, эякуляция не было. А требовалось вроде бы так мало: бутыль “гнилухи”, немного джаза и задушевные мудрствования. “Душа — не тело, — как выражался поэт Гена Трюфелев, — вынимай да показывай!” Но сие

возможно лишь в соответствующем тебе по стремлениям стаде, то бишь, референтной группе. Но что делать, если нервноболезные поэты и совсем уж психованные прозаики, преследуемые стрессом неизвестности (как в своё время битлы поклонниками) столь легко ранимые субъекты? Вследствии чего только могут ранить и тебя каким-либо тупым или острым предметом? А люди, так сказать, обыкновенные (они же — “соль земли”) считают дурью волнующие тебя экзотические категории?..

И жизнь — только долгий этап от одиночки экзистенциальной изоляции и мастурбации духа к штрафбату псевдодеятельной организации и обратно. Вечный ковер Пенелопы, подвиг Сизифа, слепой героизм пиццешварительного тракта...

А что же по ту сторону божественных дряг и унылых экзерсисов? Чем дышит Большая Земля?

Большая Земля дышала перегаром горящих танкеров и танков (не путать с танку — японским пятистишием!), погребала в развалах землетрясений тысячи людей, чудом выживших среди войн и чисток. На смену погибшим являлось свежее поколение, тут же делилось на повстанцев и службу безопасности, которые, колошматя друг дружку (а заодно и всех окружающих), время от времени менялись местами. Великие державы обвиняли друг друга в мелких гадостях и как бы им в пик какой-нибудь едва появившийся из вод Тихого океана коралловый атолл объявлял себя свободным государством и требовал принятия в ООН. На спортивных площадках хорошо тренированные ребята защищали цвета своих наций крепкими ударами по физиономиям. Политики смачно целовались, возвращались домой и приказывали ученым выдумывать для них новенькую бомбу. Те увлеченно отработывали свой академический хлеб, чуть-чуть приправленный стронцием-90. Их дети учились писать слово “мир” и отрывать головы маленьким птичкам. Птичек не учили этому слову и они продолжали клевать разных мошек, которые бескорыстно разносили вредоносных микробов, каковые, в свою очередь, готовили планы захвата мира.

Вот такая веселая жизнь!.. Сядешь в “лотос”, выполнишь “йога-мудра”, пока поясница не заскрипит от натуги, расслабишься, ангелы над головой започут. Казалось бы недавно с начальством ругался... а где оно? Снисходит Бог — начальство поважнее. Морда у него, правда, усталая, глаза слезятся как у соседнего пьяницы, нимб набекрень.

— Ну, чего тебе? — спрашивает Бог. — Чего звал?

— Да ничего, — отвечаю телепатически, — насчет смысла жизни разве спросить.

Хлопает себя Бог по карманам небесного цвета гимнастерки; словно махру ищет, смотрит на меня как на последнего идиота.

— Только и всего? — ворчит. — Книжек что ли не читаешь? Вот Библия — хорошая книга. Или там “Капитал”. Да чего я с тобой разговариваю! Иди ты к дьяволу!..

А что делать? Нажрётся тем же вечером дешёвого вина в дешёвой

компании, слушаешься дешевых анекдотов, придёшь домой: в коридоре — тени. Не то — Вельзевул, не то — участковый вельзевул... Нащёптывает тебе на ухо Сатана (а может — транзистор, сатана, за соседней стенкой?):

— Какой же смысл? В том-то и смысл, что никакого смысла нету. Да и был бы — что бы ты с ним делать стал?

— Нашёл бы что, — бубню я. — В землю закопал. И надпись написал.

— Эх ты! — отвечает Сатана-транзистор. — Ликбез коммунальный. Будешь еще после 11-ти вражью музыку слушать — выселю на 101-й километр...

Так и не понял я кто приходил. А впрочем, какая разница — всё давно смешалось! Хочешь — вены режь, хочешь — песню пой. Патология малых чисел. С тоски достанешь лист бумаги, выведешь:

“РАССКАЗ БЕЗ ТУФТЫ”

Обрыдло все...”

Такая планида!

май 77-го

РАССКАЗ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ

(проза)

Что и говорить, а литература нынче... Да только ли?.. Нет, не только. Впрочем, нам и на своём огороде от камней проходу нет, так что стоит ли?..

Главное, что пишут или не о том или неинтересно. Черезчур длинно. Или слишком коротко. Особенно, когда нечто важное хотят сообщить. О самом важном можно сказать в двух словах и нужно ли размазывать на сотни страниц? Но иногда и в двух словах такую клюкву разведут...

Современный автор приходит в литературу излишне рано, а уходит подчас непростительно поздно.

А бывает наоборот — приходит, а уже поздно. Ему бы самому взять и уйти... А бывает и это поздно...

Интересный разговор! Давайте про что-нибудь другое говорить.

Но о чем бы мы с вами не заговорили всё равно вернемся к литературе. Это болезнь какая-то. Сепсис называется.

Давайте лучше о циррозе говорить. Что лучше — цирроз или сепсис? Что ни говори, а цирроз лучше. Он время дает. На обдумывание. Вот один мой знакомый сидит себе на Еврейском кладбище (он там вроде за сторожа), сидит себе (ходить ему трудно), сидит, значит, и думает. Иногда до того додумается, что, глядишь, и роман какой-нибудь сочинит. Про покойников. Так что выходит и цирроз не спасает.

Ну, про что еще поговорим? Про пейзаж? Про пейзаж? Бунина вспомним. Тургенева помянем. Нет, лучше будем про жизнь говорить, а кто литературу помянет, тому, что называется, глаз вон и очки настороноу.

Итак, однажды... собственно даже не так давно, хотя и не имеет значения когда именно, но, пожалуй, что этой осенью сижу я себе на Еврейском кладбище и сторожу своих милых покойничков, а среди прочих и знакомого моего, который тут до меня сидел. Сижу я, опершись лбом о стол, и сны наблюдаю. А сны мне снятся цветные, широкоформатные. Коламбия Пикчерс. Продакшнз — из потустороннего мира. В последнее время программа неважная была: о трудовой вахте упырей и встречном плане вурдалаков. А тут такой оригинальный сон привиделся, в классическом вкусе. Про Пушкина. Будто подходит ко мне Александр Сергеевич, подкрадывается со спины, да как кольнет в ягодицу гусиным пером!

— Чего дрыхнешь? У тебя все покойники разбегутся!

— Не разбегутся, — отвечаю, — начальства побоятся. А вы чего деретесь?

— Да скушно, брат. Обрыдло все хуже редьки. В карты продулся в прах. А третьего дня император на меня осердчал.

— За что ж это он? — спрашиваю. — Стихи не понравились?

— Да стихи-то как раз понравились. Ему ещё раньше один мой кунштюк не показался. Я на дворемов балу Бенкендофу в пантолоны живую селедку подбросил. Ты, говорит император, зря ему селедку в панталон запустил. Он теперь приходит ко мне на доклад, а от него селедкой воняет. Ну, я поэтому написал “Бородинскую годовщину” и Его Величеству на одобрение принес. Он читает, забылся весь, а я тем временем в императрицыны покои прошмыгнул. А надо сказать, у меня с лицейских лет мечта была, как бы государыню за зад ущипнуть. А через корсет железный разве ущипнешь? Прокрался я в апартамент, зрю — государыня на постеле голой лежит, а фрейлины её пахучей мазью натирают. Ну, чего, говорит, Пушкин, стоишь? Заходи, раз пришел. Али стихи принес? Я, говорю, Ваше Величество, нижайшую просьбу имею. Дозвольте мне, говорю, Вас легонько за зад ущипнуть. Ну, щипли, ба-ловник, говорит, ежели только легонько. И задом ко мне разворачивается. Я глянул — а зад-то у нее весь в чирьях! Меня разве что не выворотило наизнанку, взял я фалды в руки и стремглав бежать без оглядки. В дверях еще на внука Суворова наскочил, который с вестью о взятии Варшавы прибыл, да так наскочил, что он у меня с лестницы ядром покотился. Вот, брат, какие дела!

— Да-а, — говорю я, — императрица-то теперь не простит. Лучше бы вам, Александр Сергеевич, к нам сюда переселиться. У нас тут тишина, раздолье. Болдинская осень.

— Простит, — отмахивается Пушкин, — куда она денется! А к вам сюда мне не с руки переселяться. У вас тут начальство зело лютное...

Сморгнул я, верно, во сне: смотрю — Пушкина и след простыл. А стоит на его месте хмырь лохматый в пенсне, похожий на хиппи пенсионного возраста, одет словно дворник и папироску крутит. Ба, да не сам ли Николай Гаврилыч Чернышевский пожаловал? Вот уж воистину!

— Кто это от вас, молодой человек, сейчас выпрыгнул? — строго спрашивает Николай Гаврилыч. — Никак Пушкин?

— Он! — сознаюсь я. — Да вы присаживайтесь.

— Не могу-с, — отвечает, — геморой-с. А вы, небось тоже стишата изволите пописывать?

— Да как вам сказать? Редко, разве по пьяной лавочке.

— Да-с, — покачивает головою Николай Гаврилыч, — в бытность мою в “Современнике” молодежь казалась серьезнее; на барские причуды глядели мы искоса; социальный вопрос, лозунг светлого будущего... всю Россю, знаете, перетряхнуть хотели...

— Да уж перетряхнули, спасибо.

— Что-с?

Возмел я тут странное желание: взять лопату и смазать Николай Гаврилычу по пенсне, блестящему золотой оправой, но услышал стук в окно моей сторожки, оборачиваюсь — к стеклу прижалась какая-то образина, нос здоровый, приплюснутый, глазки махонькие и бородища как у Санта-Клауса или Льва Толстого... Бог мой, да ведь это он сам и есть, Лев Николаевич! Пальцем грозит мне мозолистым, губы шепчут одно только слово... догадываюсь: сопротивление! Погрозил и пошёл себе дальше, по графским делам. Да и Николай Гаврилыч куда-то запропастился, видать не поверил, что может помочь Лев Толстой от удара лопатой, тем более, что никогда не питал он симпатии ни к первому, ни ко второй.

Только я стал позёвывать, намереваясь проснуться, как неожиданно влетел в сторожку здоровый громила в грязной желтой кофте, весь в мыле и с кастетом в руке.

— Слушай, зяблик, — загрохотал он, — тут Пушкин с Толстым мимо не пробежали?

— Это какой же Толстой? — решил я потянуть время; не то, чтоб Льва Николаевича очень жалко стало, а из принципа — пускай кастетом институток пугает. — Который “Гиперолоид Иоанна Грозного” написал?

— Да нет, глыбу русской революции догоняю.

— Так она вон туда покатилась, — и показываю на здание ДНД.

— Смотри, зяблик, — говорит он, надуеть, — уши обрежу.

Я потянулся было снова к лопате, однако и громилу уже ветром по-тусторонним сдуло. Но не успел я и подмышкою почесать, как заскакивает некто в костюме заграничном, но строгом, лицо топорной работы, жиденькие волосенки хитро плешь прикрывают, язык до груди висит, слышно как в грудях горячее сердце бьется, а в руке вместо кастета пухляк с валидом зажат.

— Владимир Владимирович не объявлялся? — спрашивает. — Он мне до зарезу нужен.

— Ну, коль до зарезу, так бегите скорее в ту сторону, — отвечаю я, указывая на все то же скромное с виду здание, — там желания ваши исполнятся.

Но некто топорный, почуяв в ответе моем небольшую иронию, сморщился зло и прошипел: “Шутишь, щенок?!”

Тут уж я не растерялся: весело свистнуло лезвие рабочей лопаты с остатками могильной земли...

— Послушайте, Вертопрахов, — раздался надо мной грозный голос Гадеса-директора, — вы уйдете отсюда с волчьим билетом. За время вашего сна мертвяки вылезали наружу и разбежались кто куда. Завтра же поставлю вопрос на профсоюзном собрании! А сейчас помогайте загонять их вовнутрь!

И ухватив одной рукой лопату за черенок, он стал размахивать ею над головой и боевым вертолетом помчался на улепетывающих подопечных...

Да-да, есть от чего цирроз заработать. Я не виню во всем литературу, но согласитесь все же, что литература нынче... до добра... не-а.

02.12.82

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Белок взбит и пенится, имея свою крепость, и, кажется, затрещит, лопаясь. Действительно похрустывают в нём пузырьки воздуха, разрываясь. Масса белка на дне чашки разжижается, пока на него смотришь. Но это не сразу, и даже когда происходит — поверхность та же лава пенопласта.

Так же вижу волосы её в причёске, словно на голове берет с четырьмя вонзёнными гребешками. Два из них — под черепаху, новые, третий — чёрный, как сонм пиявок, четвёртый — с перламутром, и в нём вся её жизнь: открытки пасхальные, женские курсы, город, звавшийся иначе, тушение “зажигалок”, бег по льду, пенсия, жизнь родственников её: жилет дядюшки с аппендиксом часов на цепи, усы и вечность во взгляде, высокая причёска матери, но не взбитый белок, а шёлком подбитая подушка: нити материала поредели — лоск их, гладкость, чего-то ожидающие крылья носа, пёс, который встречал их (лаял?).

Стоп. Я творил, и мне казалось, она раскрывает глаз. Для меня они как-то сразу слились в две круглые скобки. То время, которое я нахожусь в вагоне, и, очевидно, какое-то еще до того, она трапезничала семечками, не пользуясь зрением, освобождала съедобное от скорлупы и небольшими амплитудами челюстей жевала. После еды обследовала пальцами полость рта и обсасывала остатки еды, жмурясь от удовольствия.

Теперь она смотрит. Глаза же раскрывает так, будто владелица их шутит, гримасничает, корчит рожи не зрителю, а самой себе: силясь разомкнуть левый, прикрывала правый, то вдруг часто мигала им, как лампочка, готовящаяся перегореть.

Старуха обращается к клеенчатой сумке: заклепки, потертость в местах гибов — внучки? Извлекает записную книжку — кофе с пеной, а из нее карандаш — ствол ревеня, и что-то пишет, не сопротивляясь покачиваниям и толчкам состава. То-то получатся каракули. И так-то, уверен, рука действует на манер самописца кардиограммы. Подсчитывает затраты? Пытается сохранить кулинарные рецепты? Вспоминает чьи-то праздники?

Книжечка опускается на колени, веки смежаются, лицо юродствует, книжонка опять у груди — работает стебель карандаша — леденец-соулька.

Лист одуванчика с парашютиками семян, выгоревший растерянный василек, взбаламученный ил пруда — так вижу платье зеленое в белый горох, кофту синюю, плащ и чулки. Обувь спортивная — борцовки

(внука?). Ступни фиксируют сетку. Там свертки в газетах. То, что выбилося из обертки: полотенце с мочалкой. В городе ходила в баню, своей на участке нет, — да есть ли участок? — может быть, снимает, и даже не она, а кто-то — дочь? У самой, наверное, пенсия 30 рублей — сейчас такие есть? Мылась, потому и коллекция гребешков, и сон одолевает, а память дурманит зной парилки, и молодые тела, и речь их. То, что само по себе: “Балтика”, кофейный напиток.

Но что же пишет?

Обо мне?

КОРОЛЕВА РОПШИНСКОЙ

Портвейн не первый раз печется о моей половой функции. Его потребность в оргазме нейтрализована алкоголем. Нынче он сулит мне ампула соглядатая — гостей двое. Парень, вероятно, курсант: он заботится о физической облочке — еженедельный заплыв, солнечные ванны, бег. Девица, очевидная шлюха: глобальный распад дискоординирует речь и ориентацию. Портвейн познакомился с ребятами на пруду. Он, конечно, не планировал купание, ему было приятно выпить под аккомпанемент пляжных тел.

— Сейчас мы служивого выгоним, я обесточу свет, а ты ее сразу тащи к себе. — Отсутствие передних зубов провоцирует меня считать его ребенком. Обанкротившийся мозг подвержен бреду. — А мы сейчас куда идем? Ну, да. — Портвейн пытается нащупать твердую почву. — Ты ведь знаешь, что я всегда от и до и если что, то только ко мне. — Веки захлопываются, раздается храп, капитан дает крен и валится на бок, глаза полуоткрыты, но видны только белки, он обобщает свою биографию: причины старения ЗДб, способ изготовления браги и прочее, под-сознание разматывается как рулон рубероида.

В сепии отцветающей ночи курсант не смог разглядеть должным образом исходные данные объекта. Теперь он поёживается и проверяет взглядом свободен ли выход. Портвейн пытается обойтись с гостьей по-свойски, но раздаётся шлепок и лай: она пресекает тактильную фамильярность и матерится. Курсант как дым втягивает по трапу на верхнюю палубу.

— Ты, пацан, знаешь, кто я? — Чем не Шалапин, готовый до смерти перепугать кучера-грабителя? — Я — Королева Ропшинской! — Мне видится смертоносная спешка вассалов по Ждановской набережной и Большому проспекту. — Хочешь, чтоб тебе болт отрезали и в рот затолкали? — Гостье безразлично кто перед ней. Её цель — конфликт. Она выбила искру и это — утешение. Она остается в боевом стансе, конечно-сти мобилизованы для атаки. Портвейн беспомощно улыбается. Он перешёл на иную стадию, отчасти в иной пол — капитан умиротворен и

пассивен. Королева обнаруживает бегство курсанта. Она грозно озирается. — Где? Я ведь тебя везде достану. Завтра Гансу-мяснику шепну, он тебя в багажнике привезёт. — Гостья распахивает дверцу рундука и делает шаг: череп соприкасается с горизонтально расположенной палкой. Она отскакивает и превращается в дракона.

Корпус теплохода пронизывает гул шагов. На трапе ботинки шаландера. Спустившись, он взвешивает шансы.

— А ты — кто? — Королева подбоченивается. Кармен, готовая ринуться в бой или танец.

— Ты, доченька, в гости пришла, а спрашиваешь, будто я к тебе в дом ворвался. — Кумтыква ободряюще касается обветренного плеча. Он замечает принесенную Портвейном бутылку и пытается изобразить безразличие.

Через мгновение они уже пьют на брудершафт, закуривают и Королева, избрав шаландера духовником, решается на исповедь.

Её мать работала на конвейере на фабрике музыкальных инструментов, где и погибла в новогоднюю вахту — хмельную и оттого задремавшую, её затащило в кормилец-конвейер посредством захвата волос, далее пальцев рук, очевидно судорожно пытавшихся изменить судьбу.

Я чувствую, как в микроскопический интервал времени между захватом волос и тем, когда расчленённую, хотя каким-то образом ещё живую массу выплюнуло на изящно сложенные ящики с оттрафареченным черной краской и на всякий случай приколотый грубо вырванным тетрадным листом в клетку (кафель, зоопарк, тюрьма) со словами “на экспорт”.

Думается, в этот неуловимый миг с ней произошло вот что: несмотря на мгновенное отсечение фаланг, оно имело очередность и при первом контакте с механизмом, осязание констатировало, что это: Оно; зрение восприняло оказавшуюся вплотную перед лицом ленту конвейера дорогой, по которой они брели с бабушкой в толпе беженцев, пытаясь наверстать тыл; обоняние ощутило запах материнского молока — она поняла, что помнила, (и это включалась память), помнила его также, как кормильца и соперника — сосок, обернувшийся потом октябрьской звездочкой, светлячком в небе, мужским членом, кнопками конвейера с обозначением “пуск” и “стоп”; слух различил нездоровый шум в работе конвейера, по тревоге встrepенулись заученные звуки: гул телевизора, бормотание холодильника, скрип дверцы духовки, предродовой вопль тормозов, но разум спохватился “это же я!”

Отец Королевы умер, пытаясь повторить летальную дозу алкоголя, умер в реанимации, не обретя сознания, но шевеля испепеленными губами “нам не надо”...

— Мне надо потопшниться. — Объявляет гостья после исповеди и,

следуя предлагаемому этикету, заживает рот ладонью. Шаландер препровождает Королеву в гальяон. Нам слышны муки очищения.

Как и прочие, королева мечтала о красивой жизни. Как у всех, у нее была любовь: парень, желающий ее, планировавший очаг, деток, она позволяла ему многое, зная, что ее ждет иное. Мечты внедрялись в реальность: она вдруг чувствовала слабость, оказываясь в толпе школьников, ей казалось, они сейчас возмечтают обладать ею, и это станет высшим в ее жизни! Фантазии достигали беспредметности: цвет, контур, нечто нависающее, сдавливающее — тень! У неё оказались деньги, она изысканно одевалась, муж ждал ее в машине, муж, ах, он не знает всего! — сейчас они ехали на дачу, расположенную (как это он умеет всё устроить!) на взморье. Её окружали безупречные мужские фигуры, юношески пластичные. Она чувствовала их энергию и свою внезапную уступчивость, они вежливо кланялись ей и замечали: “Вы знаете”, и вдруг обняв ее, жадно и грубо задыхались: “милая!” и она, с суетным миром прощаясь: “Милый!” Она стремилась к ним, предполагая, что они-то как раз и потребляют красивую жизнь, но, попадая в желанный круг, обнаруживала не только отсутствие изысканности духовной и физической сфер, огорчалась, но ненадолго, поскольку иной конгломерат цеплялся за разочаровавший ее и в нем уж она не могла ошибиться.

— Тебе она ни к чему, а я старый, мне бы её как раз нажить — мятый жизнью моторист-наставник молодежи — герой кинематограф — полуголый, пьяный, исполненный сексуального дефицита — бес из “Вечеров на хуторе...” — идеолог и жертва всеобщей деградации утверждает на комфортабельном курсе похоти.

Он обнимает возвратившуюся гостью. Она отсрывает взопревшее тело. Она — розовая. Он — коричневый. Интерпретация Рубенса в духе Пикассо: она в шрамах и ссадинах, у нее на бедре контур неведомой дряхлости — след кислоты или пигментация, у него на плече — пучок бородавок. Кубрик одорирован блевотным дыханием.

— Я разве тебе что-нибудь сделал, чем-то обидел? — пристраивается Леший к изнуренной массе. Потные, они тотчас сливаются в два размягченных пластилиновых объема. Он запускает стоеросовые пальцы под шелковые трусы с рудиментами регул. — Я тебе — отец?

— Да. — Она отдергивает агрессивную конечность.

— Ну, так не препятствуй! — Он подкрепляет атаку второй рукой.

Королева вскакивает и передислоцируется в носовой отсек. “Я буду спать!” Чёрт садится на шпонку и ласково шепчет: “Ты, доченька, заняла штатное место лоцмана. Усталый человек придет, а лечь — некуда. Он ведь может и рассердиться. Возьмет, да попросит тебя освободить судно.”

— Да куда же мне деться?! — Революционным ором взрывается гостья. Металлический корпус диссонирует лающими рыданиями.

— А я тебе по-отечески посоветую. — Нечистый сентиментально сопит. — Ты, маленькая, трусики снимй, мы все и уладим.

— Я с ним лягу. — Обмороженный корпус заполняет мою келью.

— Ты получила пригласительный билет?

— Пожалуйста. — Я выставлю ногу. К спине приваливаются фригидные руины. Липкая рука по-хозяйски касается моего бедра. Когда экспедиция может рапортовать об удаче, Королева начинает рыдать и задыхаться.

— Кумтыква, нужна твоя помощь. У Королевы инфаркт. — Бес появляется мгновенно. Он освобождает груди пациентки из ветхого лифчика.

— Не надо! — кинематографически шепчет гостья.

— Да я не буфера твои хочу мять, а по-медицински помочь, — шаландер мнёт дряблые собачьи мордочки. — Ну, лучше тебе?

Мы оказываемся на топчане втроём. Королева перелезает через беса и оставляет нас вдвоем.

— Спите здесь, а я пойду туда. — Я ассоциирую сюжеты Ерофеева и начинаю хохотать. От меня обиженно отстраняются ягодицы соседа.

Я перебрасываю ноги через шаландера и оказываюсь на палубе.

— На-на, подавись! — Меня смешит функция глагола, когда разливаю на шконке в носовом отсеке задранные ноги и разведенную руками промежность. В ответ на смех Королева вскакивает и оглушает меня брандсбойтом мата. Она атакует с бутылкой в руке. Я уклоняюсь. Сосуд ударяется о леер, о трап звенят осколки. В зеркале отражается испуганная бесовская морда. Капитан по-прежнему безучастен.

— Я тебя убью, сволочь, чтоб ты больше не смеялся. — Гостья вооружается камбузным ножом и делает выпад. Я прыгаю навстречу и поворачиваю корпус, чтобы пропустить удар. Острие вспарывает судовой ватник. Я захватываю запястье агрессора и загибаю его. Оружие падает. Я делаю страшное лицо и подымаю нож. Королева как бы не верит в кровавый исход и всхлипывает: “Я — всё. Что ты хочешь?” “Убирайся!” — Гостья натягивает платье на голое тело. Белье заталкивается в полиэтиленовый пакет “Монтана”.

— Видишь, дочка, как всё получилось, — нравоучительным тоном вещает шаландер, закуривает и садится рядом с капитаном. — Привыкла буянить, тебя, небось, частенько как собаку выпинывают. А дала бы, как порядочный человек, и к тебе бы отнеслись уважительно. — На камбузе я подбираю мешок, видимо, Королевы и вручаю ей. Оказавшись на набережной, она через плечо кидает его в воду. Я вспоминаю, что мешок — Портвейна и именно в нем, очевидно, его ботинки и рубашка, поскольку он явился без них.

— Я тебе честно скажу, она — психическая. Ей мужик, считай, ни к чему. — Загадочное лицо с хитрецей. Кумтыква словно бы поверяет мне

тайны мироздания. — Ну, во-первых, что — у нее всю похоть алкоголь отбил, а второе, она привыкла давать только тогда, когда ей в харю на-толкают. — Он как бы незаметно следил за моей реакцией, готовый поменять станс. Однако, обнадежившись моей улыбкой, как бы обличая. — Ага! Она без мордобоя и не кончит. Да у меня были такие. Одну за волосы тяни, другой уши рви. Всякая, знаешь, разная придурь у баб развивается. А всё это с детства. Одну, скажем, в детстве елдой напугали, другая подсмотрела, как батя мамане вдувает.

Чёрт сообщил, что когда он совокупил триста женщин, то перестал вести им счёт. Однако, несмотря на ампула Казановы, в семейной жизни он не обнаруживает подобного диапазона. Будучи в разводе, он вновь сошёлся с женой, после того как и он, и она жили в другими спутниками. Молодые зарегистрировали расторгнутый брак, детей у них нет, но “она баба сильно грамотная” и это окупает все! В жизнеописание внедряются эпизоды с девяти и семилетними девочками, с двенадцатилетней племянницей. “Они, если хоть раз этого дела попробуют — потом как наркоманы.” Бес поглаживает вздыбившиеся трусы. “У меня это теперь не часто. Считай, как праздник. А был один студент, он мне на медосмотре попался. Так я стою это значит перед ним как в бане, а он кабинет запер и говорить: “Никто не узнает”. А я говорю, даже если кто и узнает, то что ж? Не я, а ты мне. Не думай, что я такой чистенький, — я мужик порченный и балованный. Глаза смотря через запотевшее стекло лет.

— Ну что, Кумтыква, спать? Ты у нас останешься? — Я скрываюсь в своем отсеке.

— Если не прогонишь. — Шаландер в нерешительности посреди кубрика.

Ложись в капитанском, а я у себя. Думаю, гостей больше не будет.

Город за иллюминатором приобретает отстраненность. Кто мы — захватчики, инопланетяне?

— Зря ты ее все-таки шуганул. — Тело взгромождается на шконку.

1986 г.

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

В годы экономического застоя одна девушка поступила в Педагогический институт.

Она долго не могла привыкнуть к новой обстановке. Засмотрится с восхищением на старших студенток, а потом вдруг вспомнит о себе и поникнет: большая разница... Недооценивала свои силы.

Другие девочки смело знакомились, гуляли по коридору взявшись за руки, вели откровенные разговоры, а эта стыдилась и только отвечала на вопросы: да, нет. Когда она проходила по общему коридору, ей казалось, что многие старшекурсники смотрят на нее и замечают разницу, — от этого она начинала сутулиться. И на нее, такую сутулую, никто не смотрел. А вообще-то у нее была стройная фигура, хороший рост. И лицо приятное — такое простое, с веснушками, с пухлыми щеками. Доверчивый характер: соседки по комнате скажут: “Наташа! Тебя там на вахте молодой человек дожидается,” — сходит, посмотрит... Жила в общестии.

Соседки ей достались так себе. Не очень.

Нарочно при ней заведут грубые разговоры, затрагиванья, какие-то намёки — она только отмалчивалась. Посмотрит, уйдёт и опять молчит. Думала: шутят они, весёлые... Соседки невзлюбили её за это.

Ведь как происходило? Живут в одной комнате, теснота; и если вдруг соседки поднялись накрались, побежали куда-то на улицу — тут ей и праздник. Письмо написать домой, шерстяные носки заштопать, прибрать с пола бумажки... И покой, и простор — всё сразу.

И получается: у соседок теплая компания, вольница, общие интересы — гулянки и, грубо говоря, мальчишки, — а эта среди них одна, как монашка, с метёлкой. Соседкам нелегко было примириться. Тоже ведь у них где-то там внутри и совесть, и всё... И вот, чтобы это заглушить, начали прохаживаться на ее счет. Начали придумывать: “Наталья никуда не ходит, потому что она все время дожидается нас — чтобы мы ушли. И тогда бежит к воспитательнице и нас выдает. Закладывает всех. Стучит...”

Господи! Очень ей нужно.

И вот, пока это всё накапливалось, одна преподавательница пришла на занятия, забыв дома тетрадку. Она пыталась на память объяснить новый материал, долго пыталась, минут тридцать, — но она запуталась с самого начала. И давно уже не понимала сама, о чем она говорит, и все сильнее злилась, и, наконец, набросилась на эту Наташу.

Она и раньше к ней придиралась, потому что другие девочки могли в ответ наругать, а Наташа не могла.

— Вот вы, — говорит, — как вас... все время забываю... Антонова. Вы почему смотрели в окно? Вы, во-первых, встаньте, когда к вам обращаются. Почему вы не слушали?

— Я слушала.

— Повторите.

— Что повторить?

— Все повторить! И с самого начала.

— Но вы долго...

А та сама уже видит, что сказала глупость, — целый урок повторять, — и разозлилась окончательно.

— Вот видите, — говорит, — вы не можете повторить. Я удивляюсь! Это такой святой труд — труд учителя, а вы вот так к этому относитесь. Я не одну только Антонову имею в виду, это ко всем относится. Запомните на всю жизнь: из плохих студентов получаются плохие учителя. Именно из таких, как Антонова.

Опять Антонова... Разошлась, воодушевилась — ей уже не остановиться. Молотит языком. Про стипендию вставила “Мало того, что вы не уважаете, — вы просто-напросто обкрадываете государство. За что вы берете деньги? За потолок, который разглядываете? Стыдно, Антонова! Ваш труд — это ваши отметки, ваши...” — жалко ей стало для Наташи сорока рублей в месяц.

Но тут звонок прозвенел.

И сразу же у неё в голове что-то переключилось в обратную сторону — она успокоилась. Повеселела, забыла про все. Прыщик на подбородке припудрила и пошла к себе на кафедру.

А Наташа после занятий приходит домой в общежитие. Бледная, и ничего не может делать от волнения. Не может есть. И соседки пришли следом за ней. И не то чтобы они пожалели Наташу, но очень уж им надоела эта женщина, преподаватель. И они при Наташе начали ее критиковать, называть стервой и так далее.

А Наташа вдруг говорит: “Нет, девочки, она права.”

Главное — она с ними жила и не догадывалась даже, что соседки не любят ее, не выносят. Она думала, что у них такие же мысли в голове, как у нее самой — ну вот это: “Понимаешь, мама, я учитель. Сколько надо любви и огня, чтобы слушались дети меня. Учиться, учиться и учиться,” — и так далее. И тут она первый раз открылась, со светлыми слезами на глазах заговорила при них насчет этого.

И тогда уже все прорвалось, вышло наружу. Соседки от неожиданности приняли эти слова за насмешку, за издевку какую-то... Изругали ее. Кричали прямо в лицо, что они, соседки, почему-то не чувствуют никакой заботы государства, живя в вонючем общежитии на сорок руб-

лей в месяц, а допустим в Америке — там забота, там студент, якобы, живет по-человечески. А если она одна чувствует заботу — значит, она правда доносчица.

— Какая доносчица? — Наташа лепечет. — Вы что?

А ей говорят: — Имей в виду, мы тебя предупредили.

Ну, тут уже Наташа догадалась, как к ней относятся вокруг и притихла, испугалась.

Дальше хуже. Во-первых, невыносимые отношения в общежитии. Во-вторых успеваемость. Наверное всё-таки школа, в которой она училась в провинции, была не очень хорошей. Или до туда не доходили более современные методики преподавания. Но в родной школе Наташа училась на “хорошо” и “отлично”, а здесь ее вызвали в деканат, чтобы предупредить: “Лишим вас стипендии, если не ликвидируете задолженность по английскому языку”.

Засела за английский, ей вдруг говорят: “Антонова! Да что вы так плохо пишете? У вас в каждом слове ошибка. Извольте заняться дополнительно.” Она за орфографический словарь — по истории двойка! За все хватается, не спит, похудела на три килограмма... Ничего не получается! Сильнее и больше отстает от учебной программы.

Но пока еще она не отчаивалась и думала про себя: “Должна же быть справедливость. Или не должна? Если я, вот — буду больше работать, поменьше отдыхать — неужели не наладится моя успеваемость?” — И она стала по ночам заниматься.

Сидит, листает конспект... Многое непонятно! Пропущено что-то главное — не то в лекции, не то в тетради. И соседки шипят “Туши свет, дура. Спать мешаешь.”

В эти трудные недели только две причины удерживали Наташу от отчаяния.

Во-первых, по одному из наиболее важных предметов она не отставала. Там был преподаватель — очень уже старый человек и очень заслуженный, бывший профессор университета. Он всегда излагал просто, человеческим языком — записи его лекций Наташа понимала. Плюс еще физическая подготовка. На этих двух занятиях Наташа могла передохнуть.

Во-вторых, она... как бы сказать... ей начал нравиться один мальчик.

У них в группе всего было два мальчика. Первый из Средней Азии приехал по комсомольской путевке и совсем не говорит по-русски, зато другой, такой Алеша Немировский... ну, он был интересный. Бледное лицо, гордая осанка, густые волосы. Многие девочки на него заглядывались. Длинные как у музыканта пальцы...

Наташа и не заметила, как втянулась — начала посматривать в его сторону. А когда заметила, было уже поздно. Думает о нем, и все тут.

Когда засыпает, последняя мысль о нем. Просыпается — первая. И весело это ей, и странно. Утром подходит к институту, глядит на учебный корпус и заранее знает: там он или пусто.

Ночью в трудную минуту, когда глаза начнут болеть, обязательно вспомнит о нем. Отложит постылую тетрадь, потушит свет, сядет поудобнее, качает ногой и смотрит, как за окном дождик поливает пустую улицу. Лужи блестят, фонари... Не замечает, как тапок с ноги упал — сидит. И грустно ей, и хорошо.

И в скором времени у нее, оттого что она по две-три ночи подряд не спала, ю стала и днем голова хуже работать. Стала уставать, появилось какое-то безразличие. “Похоже, — думает, — не наладится успеваемость. Наверно, у меня мало способностей.” И решила так: “Попробую последний раз, соберу все силы.” — а о том, что будет, если и на этот раз ничего не получится, решила пока не думать.

Вот она ночку последнюю посидела, подзубрила все, утром еще комнату подмела и поспешила на занятия. И попала как раз к тому профессору, про которого уже говорилось, что он был очень старый. И отчасти, как вообще многие люди умственного труда, не очень за собой следил. Такой костюм поношенный, лоснящийся, синяя шапочка набекрень и лысая голова. Возраст все-таки критический. Но ум ясный и огромный опыт и знания.

А там собрались эти молодые девчонки. Они и слушать ничего не хотят! “Мухомор. Дедуля. Пугало огородное” — вот все их отношение к заслуженному деятелю. Личики свои крашуют, галдят, посылают друг дружке записки: “Света! После Мухомора пойдешь в кино?” — “Обязательно! А ты?”

Вот он полистал журнал, шапочку на брови надвинул и вызывает: “Никифорова”. А эта Никифорова, одна из соседок Наташиных, сидит перед ним развалясь и дерзко отвечает: “Пять минут назад вы ее послали за мелом. Уже не помните?” — Все хохочут, ликуют... А профессор посмотрел в журнале: “В таком случае, — говорит, — Антонова.” — Она и побежала.

А она все учила! Весь урок стоял у нее перед глазами, две страницы из учебника, и она четко начала отвечать: “Пушкин Александр Сергеевич родился в Москве по улице Баумана...” — и вдруг — щелк! Забыла одно только слово, испугалась, и весь урок разом вылетел из головы. Как будто свет потух. Стоит, выламывает пальцы и понимает, что погибла. Не вспомнить, ни за что не вспомнить.

— Так вы готовились к семинару?

— Готовилась, честное слово! Я учила.

— Так отвечайте, товарищи ждут.

А “товарищи” — кто спит, кто ест, кто ногти подпиливает.

Выговорила из последних сил: “Пушкин... Родился в Москве...” — и все тут. Уже и улицу забыла.

Профессор подождал, потом говорит спокойно:

— Садитесь, Антонова.

Села она, и почти не дышит, и слезы высохли. Сидит как мертвая. Когда прозвенел звонок, и все побежали с топотом, вдруг ей профессор: “Останьтесь”.

Уселся рядом с ней и начинает: вам, наверное, нелегко будет освоить учебную программу. Я чувствую, говорит, что в вашей школе был невысокий уровень преподавателей.

А Наташа ему: — Я все понимаю. Мне так стыдно! Я уеду. Уеду я. Больше так не могу.

Профессор говорит: — Погодите.

— Второй месяц наблюдаю вашу группу, — начинает, не торопясь, — смотрю на ваших подруг. Страшно думать, что они будут работать с детьми. Такие ленивые, злые! А вы... У вас имеются неплохие качества: ответственность, стремление чему-то научиться, простосердечие — такие качества, знаете ли, на улице не валяются.

Наташка — в слезы. Первый раз за столько недель услышала от кого-то доброе слово.

— Я-а... — заикается. — Мне никак... Никак! Я не понимаю предметов.

Профессор улыбнулся и говорит: — Я бы вам посоветовал отдохнуть. Выспаться в первую очередь. Я же знаю, что вы подготовились. Ну переволновались немного, сбились — это пустяки. Вам я зачет поставлю, экзамен у меня вы тоже сдадите. Кстати сказать, по вашей специальности уже несколько лет — недобор. Никто не хочет быть учителем русского языка и литературы. Поэтому из вашей группы отчислять никого не станут. Ничего не бойтесь, учитесь спокойно. Конспектируете вы добросовестно, вот по этим конспектам сможете потом спокойно подготовиться к тому или иному уроку. А пока — перестаньте зубрить. Это бессмысленное занятие. Попытайтесь хоть что-то, хоть малую часть охватил своим умом и усвоить. Иногда отдохните, в кино сходите, в конце концов. И побольше, знаете ли, читайте. Повышайте общую культуру.

— А что мне читать? Давайте я запишу — вы мне только посоветуйте, что?

— Ну зачем же записывать? Читайте лучше всего классику. Достоевского читайте, читайте... — Он задумался, кого следующего назвать, а тут в дверь заглянули, окликнули его, и разговор кончился.

Но Наташа все запомнила свято! И приободрилась, начала оживать. Иной раз своими словами ответит — и ничего. Стала меньше зубрить. С Достоевским ей повезло — прямо на улице с лотка купила Достоевского, “Белые ночи”. Читает понемногу. На занятия идет с переполненным

сердцем — там для нее и занятие, и свидание. Зайдет в аудиторию, вы- смотрит незаметно свое сокровище, Алёшу Немировского, и садится где-нибудь за ним и поглядывает несмело. Как будто на доску, а на самом деле — нет. Не на доску. Все ей дорого в нём, все интересно.

Тем временем и ноябрьские праздники подоспели. Два дня отдыха! С утра пораньше соседки Наташины собрались и куда-то поехали, к кому-то на дачу — с ночёвкой. И так хорошо стало. Весь этот день Наташа себя чувствовала удивительно — и праздник все-таки, и в то же время покой, простор... Как будто дома отдохнула.

Но к вечеру на том этаже, где жила Наташа, немного поднялся шум. Всё-таки праздник, кое к кому из девочек пришли гости. Магнитофоны заработали, а в коридоре отдельные выкрики и хлопанье дверей, чаще чем обычно.

Наташа бросила заниматься, комнатку свою подмела и пошла с совком выносить мусор. Идет по коридору — вдруг за одной дверью почув- дился ей голос Алёши Немировского. Смысл слов не разобрать, но как будто встревоженный голос и повторяет одно и то же: “Вы не должны, вы не должны?” — или что-то похожее. И стулья двигают на фоне слов.

Наташа побежала к себе, причесалась. Мысли прыгают в голове. Халатик скинула, надела красивое платье.

Чтобы попасть на кухню, надо было опять мимо той двери идти — быстро пробежала, поставила чайник. Назад пошла медленно.

Переждала у себя в комнате пять минут и пошла заваривать. Пустынно в коридоре. Вернулась, села пить чай. Руки дрожат и вкуса не чувствует.

Напилась, понесла мыть чашку. На обратном пути не выдержала — остановилась у той двери. Мертвая тишина, даже музыка перестала играть. “Ослышалась,” — думает.

Ей все равно надо было у кого-то одолжить эмалированную каст- рюльку, а в этой комнате жила знакомая девочка, и Наташа тихонько постучалась... И сама же испугалась, отдернула руку, а знакомая девоч- ка уже спрашивает у кого-то, “Дима, к нам стучат?” — И кто-то ей от- ветил сердитым голосом: “Он у меня достучится.”

Дима... Значит, ошиблась. Отошла от этой двери на цыпочках, под- няла голову — вот он! — в конце коридора стоит Алёша Немировский. В своем синем клетчатом пальто глядит на Наташку. Рукой ей помахал. И крикнул что-то.

Наташа ладошкой так сделала удивленно: это вы мне?

И идет к себе в комнату медленно-медленно. Уши горят, сердце ко- лотится. Только линолиум красный перед глазами, идет по линолеуму. И слышит, кто-то побежал по коридору в ее сторону. То есть, понятно кто.

Вошла к себе, дверь прикрывает понемногу, а Алеша Немировский уже держит с наружной стороны, не пускает.

— Можно к тебе?

Наташа дверь отпустила, говорит:

— Можно.

Взглянуть на него боится, прижалась к стеночке... И слышит, — заходил по комнате. Половицы поскрипывают. От ходьбы ветерок. Полы пальто задевают за кровати — мягкий звук.

— Зачем я пришёл, — спрашивает внезапно, — не знаешь?

— Нет.

— И не догадываешься? — глухо так.

— Нет... — а у самой все быстрее прыгают мысли, и глубоко, на самом дне: “Неужели? А что еще? Только это.”

— Люблю я тебя, — выговорил с силой.

Наташа и обмякла. Те самые слова, те три слова, которые она в воображении, в сердце своем — сто раз, а может быть — двести... “Вот и все, — подумала. — Все таки есть Бог. Но до чего же... невероятно.” — Вдруг Алёша Немировский ее схватил.

Наташа как закричит! Даже не от испуга, не от неожиданности — просто от боли. Он схватил ее за плечо, зацепив по дороге часть волос, а другой рукой за пазуху лезет — там какая-то пуговица или пряжка на рукаве всю кожу ей раздирает.

Наташа вырывается, бьется, только пуговицы отскакивают, а этот налип, навалился как мешок, шарит рукой и ещё дышит ей в лицо какой-то кислятиной. (Вы не забывайте, что тогда был застой, и во многих местах, а уж в общежитиях этих особенно, много дурного делалось втихомолку.)

Благо, что Наташа была ловкая, сильная. Это сначала она опешила, а потом догадалась: расслабила все мышцы на секунду — и резко присела. Освободилась. Забежала за кровать и кричит оттуда: “Ты что, дурак? Ты дурак?”

А обидчик стоит тупо, пальто распахнулось, белая рубашка выглядывает... Что-то бубнит под нос. Вдруг его в сторону потянуло, пошёл боком, наткнулся на кровать.

И упал на спину.

До этого дня Наташа почти не знала пьяных, дома ее берегли. Издали — сколько угодно, а так... Но когда он упал — догадалась, конечно.

Выскочила в коридор, идет как побитая. И почти сразу знакомая девочка попала навстречу, окликнула Наташу: “Что с тобой?”

Наташа не растерялась.

“Вот, — говорит, — ищу иголку. У тебя нет иголки? Зацепилась за дверную ручку, порвала платье.” — Та ее пригласила.

Наташа отдышалась, зашила ворот. Посидела сколько могла, а там уже ночь — надо уходить.

К двери своей подкралась, прислушалась: какое-то бормотанье, храп... Пошла на кухню, куда еще?

Поставила чайник на плиту. Ночью по общежитию всякие люди бродят, попадают и пьяные по случаю праздника, а она — при чайнике. Вышла, якобы, чайку подогреть.

Как только чайник закипит, она кипяток выливает, набирает опять сырую воду и снова сидит, дожидается.

Сначала боялась. И колотило ее, и ком в горле стоял от обиды. Потом устала, захотелось спать. “Вот если бы вдруг вернулись соседки, — начала мечтать. — Вытащили бы его за ноги. И я бы легла.”

А потом что-то в ней подвинулось. Какое-то равнодушие пришло или, может быть, твердость... Устала бояться. Во втором часу незнакомый пьяный привязался. Поговорила невнимательно: “Да, захотелось чаю. Угу. Замужем, замужем. Почему не здесь — муж здесь. Хочешь познакомиться? И тебе спокойной ночи.” — Повзрослела за эту ночь.

Под утро, около пяти часов, когда уже все уgomонились — шаги. Кто-то идет по коридору. И немного кашляет, прочищает горло. По первому звуку Наташа узнала своего Немировского — и ничего. По-прежнему сидит у плиты, как сидела. Даже прическу не поправила.

А Немировский бодро так проходит, взмахивает рукой, и — заметил Наташу. Застыл. И Наташа видит, что он ее не узнает. Охорашивается, втянул живот. Холодные огоньки во взоре.

— Девушка... — негромко так. — Вы случайно не меня дожидаетесь?

— Нет, — Наташа ему говорит.

И вдруг зевнула. Не нарочно, от чистого сердца зевнула.

Плечом дернул. “Жаль, — буркнул. — Жаль.” И пошел дальше.

Наталья тогда слезла с табурета, чайник подхватила — и к себе. Летит по коридору, не замечая усталости. На порог ступила, шелкнула выключателем — что такое? Запах... Вид!

Ну понятно — пьяный, вырвало его. На пол, на покрывало. И на подушку попало.

Наташа до света прибиралась — мыла, стирала. Конечно, запах до конца истребиться не мог, но и Наташа уже не могла. Заперлась в десятом часу. Легла.

Поздно вечером её соседки разбудили, включили свет. Вошли и стоят, воздух нюхают. Переглядываются.

Наташа и на соседок смотрит как-то по-новому. “Ну, вы такие. А я такая. И все хорошо.” Она же помнит, как ночью этих самых соседок вспоминала и какая нужда в них была.

Лежит, щурится на лампочку. А соседки недолго принюхивались — начали смеяться. Веселые после дачи, покладистые.

— Вот это да... — смеются. — Монашка-то наша... Ну и дела...

Никифорова к ней на кровать подсела.

— Что здесь было-то? — спрашивает. — Расскажи?

— А что было? — Наташа говорит. — Что у вас было, то и у меня было.

— Ну и правильно, — Никифорова сказала. — Нормальный ход.

С этой минуты соседки начали уважать Наташу.

Кончились праздники. Одиннадцатого числа приходит Наташка на занятия — внизу в вестибюле висит чей-то портрет в черной рамке. “С прискорбием извещаем... профессор... доктор наук... скоропостижно...” — И кто-то закричал над самым ухом: “Девчонки! Мухомор умер”.

Наташа от этого крика отошла поскорее в сторону, захотелось ей на свежий воздух... Вышла из института, села на скамейку. Только вытерла слезы — мимо скамейки Никифорова летит, пыхтит. Опаздывает на занятия.

— Вставай! Проверка будет!

А Наташа ей: — Не пойду.

Ладно, Никифорова дальше побежала. На проверке за Наташу крикнула: “Здесь?” Только Наташа и на следующую лекцию не пришла. Соседки отзанимались, приходят в общежитие — и в общежитии ее нет. В десять часов вечера начали посмеиваться: “Совсем загуляла наша монашка,” — в двенадцать спать легли.

Утром собираются на занятия — вдруг дверь отворяется. Входит Наташа. Еле идет, лицо белое в подтеках, губы запеклись.

“Ты что? Где ты была?”

— Девочки, я была в милиции.

“Да ты что?! Ты говори. Что произошло?”

— Ко мне подсел американец.

“В милиции? Или что? Девочки, она бредит...”

— На улице. Я не брежу. Я сидела на скамейке.

“Ну?”

— Ко мне подсел американец.

“А потом?”

— Потом? Ушел.

“Чушь какая-то... Во-первых, с чего ты взяла, что это был американец?”

— Он так сказал.

“И ты поверила? Ну, милая...”

Тогда Никифорова им говорит:

— Да заткнитесь вы к чёрту! Наташ, как же — почему милиция?

— Это когда он ушел. Вдруг подходят двое. А потом в милиции сказали про меня: приставала к иностранцам.

Соседки так и прыснули: — Точно! Антонова — она такая. Известная, можно сказать, специалистка по иностранцам. В самую точку попали!

— Ну, умники... — отдуваются. — Специально, что ли, в эту милицию набирают одних дураков?

— Идём в институт, — зовут Наташу. — Остальное ты нам по дороге расскажешь — про американца. Выходит, ты в самом деле познакомилась... Слушай, но это же здорово! Какой он из себя? Одет, наверное... Слышишь, идем! Ты чего? Опоздаем же!

Наташа на них поглядела молча и легла на кровать вниз лицом.

И Никифорова им говорит: — Отваливайте. Мы сегодня прогуливаем. Вдвоем идите.

Когда те ушли, Наташа шепчет: — Марин, мне страшно. Теперь меня отчислят. Это совершенно точно.

— Что ты выдумываешь? За что?!

— Мне так сказали.

— Вот именно. Какой-то кретин ей сказал... Об одном жалею — что меня там не было. Я бы им — эх! Что они, вообще, о себе думают? Хватают людей на улице, оскорбляют... Дегенераты. А вся беда в том, что ты такая курица. Надо было на них накричать, стукнуть по столу кулаком! У меня просто не умещается в голове — неужели они тебя держали целую ночь? Где ты там находилась... в милиции, что ли?

— Прощу тебя, Марин, хватит об этом.

— Как хочешь... Но это все потому, что ты курица. Несчастье просто... Выбрось сейчас же из головы! Забудь! Отчислят ее... А мы на что, Кто тебя лучше знает — эти два мерзавца или мы все? Завтра же пойдем к декану, все наши девчонки, и будем добиваться — мы на них в суд подадим за оскорбление, на этих подонков. Нельзя им спускать ни в каком случае! Ты что?..

Наташа немного успокоилась, ополоснула лицо холодной водой, разулась. Тогда уже Никифорова расспросила ее про американца, и вот что выяснилось.

Они познакомились — Наташа и американец — случайно. Он подсел просто так, но Наташа перелистывала книгу “Белые ночи”, и американец вдруг сказал, что он именно так представлял себе настоящую русскую девушку: строгое лицо и читает на улице Достоевского. Наташа улыбнулась невольно...

Но говорить с ним оказалось нелегко: все время “Америка”, “Америка” — как будто на свете кроме Америки ничего нет хорошего. “Вы просто ничего не знаете про другие страны,” — Наташа ему говорит. Он смеется... “Хорошее есть везде, — отвечает ей. — Вот Достоевский. Он

ваш. Но у вас его книги запрещены. В Америке так невозможно. У нас — свободная страна.” — “Ничего подобного! У вас Дарвина до сих пор запрещают и Марка Твена.” — Американец сразу нахмурился и говорит: “Это пропаганда”.

“В Америке свобода, — объясняет ей, — поэтому каждый штат решает за себя и каждая школа может решать отдельно, какие книги иметь в своей библиотеке.”

“А у нас, значит, нет свободы?” — “У вас нет.” — Наташка тогда говорит: “Ничего вы не знаете! Достоевского у нас в школе проходят, в девятом классе.” — “Это другое, — американец отвечает. — Есть главный роман Достоевского, я забыл теперь название, — и он у вас запрещен. Где он писал против террористов, против Сталина...”

— Ты не помнишь, — Наташа спрашивает у Марины Никифоровой, — разве есть такой роман у Достоевского? — Марина только плечами пожимает. Потом спрашивает в свою очередь:

— А откуда он знает русский язык?

— Преподаёт.

— И хорошо говорит?

— Не очень.

— А как он вообще? Понравился тебе?

Наташа подумала и говорит:

— Кажется, хороший человек, только не такой тонкий...

И тут к ним в комнату заглядывает знакомая девочка и объявляет:

— Наташа, тебя там на вахте молодой человек дожидается.

— А? Хорошо, я сейчас.

Марина глядит на свою подругу и спрашивает с улыбкой:

— Да и кто же это такой, интересно?

Наташка покраснела ужасно, говорит: — Я никого не звала.

— Но адрес дала...

— Ничего подобного, если хочешь знать. Это он давал мне свой адрес, но я не захотела — какая-то гостиница, зачем это? — тогда он спросил про наше общежитие... Но я не думала, что он запомнит. Марин, я что-нибудь сделала нехорошо?

— Беги на вахту, дура! — Никифорова ответила.

Сама не утерпела и следом за Наташей прокралась на лестницу. Смотрит сверху, как внизу за железной вертушкой стоит и ждет американец... Небольшой, довольно невзрачный, и что самое удивительное — чем-то похож на Наташку. Такие же пухлые щеки. С большим любопытством все разглядывает — вертушку железную, охранника, праздничный лозунг, который остался в вестибюле после праздников. Глаза детские, круглые.

Наташа к нему спустилась, вдруг он из-за спины достает букет и подает ей. Наташа помялась, взяла... И стоит перед ним, опустив голову.

Американец что-то рассказывает, жестикулирует — Наташа слушает молча. Постояли так минут десять, потом Наташа что-то сказала, попрощалась со своим американцем за руку и стала медленно подниматься по лестнице. Букет несет бережно, хотя такие букеты цыганки около метро продают по два рубля — привозные астры.

— Ну? Что? — Маринка наверху прыгает от нетерпения.

— Не знаю, — Наташа говорит. — Ничего не понимаю. Как ты думаешь, зачем он приходил?

— Чтоб лучше тебя видеть, дитя мое! — отвечает ей Марина словами волка из “Красной шапочки” и сама смеётся и прыгает.

— Ничего подобного. Просто он вчера увидел из автобуса, как меня... как они подошли. Он вышел на следующей остановке и побежал назад. Нашел отделение...

— Молодец!

— А ему там говорят: вы ошиблись, мы никого не задерживали.

Марина тогда наставила на нее палец и сказала:

— Вот видишь! О чём я и толкую: они знали, что нарушают закон! Поэтому действовали украдкой, и если бы ты только один раз стукнула по столу кулаком... Эх! Меня там не было.

На другое утро девушки вместе отправились в институт. По дороге болтали, много смеялись, но когда впереди показался учебный корпус, Наташа вдруг вздрогнула и сказала: “Просто боюсь идти.” — “В чем дело?” — “Придем, а меня уже отчислили... Моя мама не переживет.”

— Знаешь что? Кончай срамится, — Марина ей ответила.

Пришли, благополучно отзанимались. Наташа за английский перевод получила четвёрку.

После занятий выходят вместе на улицу — в палисаднике перед главным входом сидит на скамейке знакомый американец. Маринка первая его заметила и толкает подругу в бок.

— Смотри! — шепчет. — А?!

— Да ну тебя... — Наташа смущается. — Можно подумать...

Но тут к ним знакомая девочка подошла сзади. И говорит Наташе: — Слушай, это ты Антонова? Как хорошо, что я тебя поймала! Понимаешь, завтра комсомольское собрание в три часа. Тебе обязательно надо быть.

— А мне не надо? — Маринка спрашивает. — Вот спасибо! Тогда я не приду.

— Про тебя не говорили, — знакомая девочка отвечает. — Не ходи, мне-то что.

— А про меня говорили? — Наташа встревожилась. — Что именно говорили? О чем будет это собрание?

— Откуда я знаю? Попросили передать, вот и все... Какая-нибудь

глупость очередная. В первый раз, что ли? В общем, я побежала. Привет!

— Не нравится мне это... — Наташа говорит.

А уже подходит американец. Улыбается во всю ширину лица, прищипывает, просто светится. Марину Никифорову по-дружески так похлопал по спине. Маринка удивилась немного, а потом поняла — радуется человек и всех любит. Такая минута, когда все легко... Сама заулыбалась, сморщила нос.

— Ладно, Марин, до вечера, — Наташка ей говорит.

И ушли вдвоем.

Без пяти минут двенадцать Наташа является в общежитие. Бледноватая, но спокойная. Марина ей шепчет (соседки еще не легли): “Пошли на кухню.” Наташа кивнула.

Пришли на кухню, поставили чайник, расселись по табуреткам. Газ горит, Наташа молчит и молчит. Никифорова даже рассердилась.

— Я сейчас уйду, — предупредила. И уселась поудобнее.

— Не уходи.

Марина еще подождала немного...

— Что, замуж зовет? — спросила в лоб.

Наташка удивилась. “Ну, не совсем... — говорит. — Но в общем... Как ты догадалась?”

— Вот хитрость великая! Если уж мужик сияет, как медный таз...

— Да? — Наташка заинтересовалась. — Сияет? Тебе так показалось?

Марина только фыркнула. А потом говорит: — Что ж, не забывая нас, когда в Америке поселишься.

Наташа внимательно на нее поглядела.

— Так я и знала... — говорит. — Даже странно. Неужели ты думаешь, что я соглашусь уехать... насовсем? Ведь это ужас.

Никифорова как-то даже сгорбилась от досады.

— Ну знаешь, — сказала. — Такого я не ожидала даже от тебя.

— Но почему? Здесь у меня все: родители, родственники. Подружки мои. А там что?

— Там-то конечно... Общий кризис капитализма.

— При чем тут общий кризис капитализма?

— При том, что есть хороший анекдот: маленький крот вылез случайно из норы, все увидел — солнышко, травку зеленую — и говорит отцу: “Папа! Почему мы должны жить в грязной норе?” — “Молчи, сынок. Здесь твоя родина.”

— Ну и глупый анекдот. Знаю прекрасно... сто раз слышала.

— Чем же он глупый?

— Тем, что крот на солнце умрет, а во-вторых, мало ли кто там живет — навозные мухи вон как солнце любят, все время летают.

Марина говорит: — Пускай я муха навозная...

— Ой, да разве я про тебя?

— Но любая нормальная девчонка...

— Ничего не любая.

— А я тебе говорю: любая! Пойми, что оттуда можно поехать куда захочешь — в том числе и к мамочке. А вот отсюда ты уже никуда не вырвешься, моя милая. И дети твои здесь сгниют, и внуки. И что ты здесь видишь — вот это общежитие вонючее, преподавателей наших родимых? Еще не надоело тебе?

— Нет, Маринка, ты так не думаешь.

— Интересно! А как я думаю?

— Не знаю...

Раскраснелись обе. Молча посидели, глазками посверкали друг на дружку — Марина вскочила с табурета и ушла. Наташа вздохнула, газ под чайником погасила и тоже пошла спать.

Утром встали — все делают молча. Наташа первая собралась, смотрит на Марину, а та все нарочно отворачивается. Тогда Наташа схватила свой портфель и пошла одна в институт. Марина опомнилась, поспешила за ней, почти что уже догнала — стоп! Перед общежитием по тротуару прохаживается знакомый американец. Наташа к нему... А Марина: “Да ну вас!” — только рукой махнула и перешла через дорогу на другую сторону.

На другой стороне — кинотеатр. Афиша. Какой-то мультфильм японский, утренний сеанс. Марина прочитала афишу и пошла в кассу.

В институт явилась к последней лекции. И на ту опоздала. Дождальась перерыва, заходит в аудиторию. Осмотрелась. Наташа в третьем ряду сидит. Голову набок склонила, что-то дописывает в конспекте. Рядом с ней все места заняты. Марина сумку свою на пол бросила и здесь же у входа плюхнулась на скамью.

Только задремала, спереди знакомая девочка повернулась к ней и спрашивает “Слушай, эта самая Антонова, которую отчислили, — она не в вашей группе училась?”

— Кого отчислили? — Марина привстала.

— Какая-то Антонова... У кого не спросишь — никто не знает. Но какую-то Антонову с нашего потока отчислили за аморалку.

Марина схватилась за щеку — так и просидела до конца лекции. В двадцать пять минут третьего звонок прозвенел. Загалдели все, встали. В дверях пробка. Наташа на своем месте сидит, пишет.

Маринка к ней подбегает: “Ты что, ничего не знаешь?!” — и вдруг видит, что Наташа не лекцию дописывает, а рисует прямо в конспекте домик... Дачный домик с трубой, два окна, из трубы дым идет спиральной. Собачья будка, забор. Яблони с яблоками. А ниже на листе уже нарисован один домик. И на предыдущей странице — домики...

Наташа на Маринку глядит, улыбается ей одними губами и шепчет:
— Ну вот. Я же говорила.

А Маринка стоит, смотрит сверху на все это и понемногу закипает, закипает...

— Это мы еще посмотрим, — сказала жестко. — Ты пока сиди тут. Без меня — никуда. Поняла? Побегу наших девчонок поднимать.

Побежала по лестнице, по коридору. Последние ругательства бормочет на бегу — взвинчивает себя. Возле буфета, наконец, поймала одну девочку.

— Где вы все? — кричит на нее. — Куда пропали?

— А там, — на буфет показывает. — Надо же перекусить перед собранием.

— Надо же подготовиться сначала! Что будем говорить?

— А что говорить? По-моему, сначала надо узнать, в чем там дело, разобраться...

— В чем там разбираться? Человека выгоняют ни за что!

— Странно. Нас с тобой почему-то не выгоняют ни за что.

Марина просто зубами заскрипела, развернулась и в буфет бросилась.

— Девчонки! Что делается, слышали?

Одна девочка ей отвечает:

— Это Михайловская постаралась, я уверена на девяносто девять процентов.

(Так звали преподавательницу, которая в октябре позабыла тетрадку.)

— Что будем делать? Да кончайте вы жевать!

— Интересно, а что ты предлагаешь? — другая девочка спрашивает.

— Выступить надо!

— От этого что-нибудь изменится?

Третья допила кисель и говорит:

— Идемте, девочки, осталось девятнадцать минут.

Марина к соседнему столику кинулась, потом к другому... В одном месте ей говорят: “Между прочим, когда у меня стипендию отобрали совершенно несправедливо, — кто-нибудь за меня заступился?” В другом месте: “Ты сама нам говорила, что Антонова стукачка. Пускай ее первый отдел защищает.” В третьем: “А как ты ей поможешь? Помогай, не помогай — сессию она все равно не сдаст. Все равно выгонят, так или иначе. Техникум — вот ее потолок.”

Последнюю девочку Марина долго уговаривала, держала за рукав. Та вырывалась молча, потом не выдержала: “Отвяжитесь вы от меня. У меня мама вчера попала в больницу, как вам не совестно меня мучить.”

После этого у Марины одна-единственная надежда оставалась — на

Светлану Николаевну Быкову. Эта Быкова была куратором группы и могла помочь. В ней не было того высокомерия, той брезгливости, которыми грешили многие преподаватели на первом курсе. Студентки ее уважали. Справедливая женщина была Светлана Николаевна, твердая и умная. Мастер спорта по альпинизму. Марина подкараулила ее на лестнице перед началом собрания.

— Светлана Николаевна, вы должны помочь.

— Ты ведь знаешь, Марина, я не ханжа. Просто я считаю, что нужно выбирать что-то одно. Или ты учишь детей, или ты гуляешь по иностранцам. Одно из двух.

— Не было ничего этого!

— Ну, я не знаю. Я только знаю, что эта девочка в общежитии не ночует, учится хуже всех, через день пропускает занятия, в милицию попадает, — одним словом, овечка невинная. Мне тут ее соседки рассказали, как они за ней подтирали седьмого ноября... Рвота и все что хочешь.

— Вот это уж точно вранье! Я ж сама соседка — я из той же комнаты... Наташа одна убирала, даже помыла пол.

— Ну, если одна... Тогда конечно. Совсем другое дело! Слушай, Марина, я тебе вполне по-дружески прошу побереги свои благородные чувства для другого случая. А этот человек в нашей помощи не нуждается.

Сказала так и отвернулась. А сверху по лестнице уже спускается начальство: комсомольский секретарь Морозов, замдекана Карцев-Ярцев и старик Бесфамильный из первого отдела. Быкова на две ступеньки поднялась и встречает их на лестничной площадке — рукопожатия пошли в ход, улыбки... У всех четверых зубы заблестели.

Марина смотрит на них и пятится. “Только бы не окликнули, — молит про себя. — Не хочу!” Невменяемая стала. Не заметила, как в гардеробе одевалась и как очутилась на улице. До самого общежития бежала бегом.

Чудо, что под машину не попала или не провалилась в люк.

Пришла в себя только через три дня — уже после того, как проводила Наташу. Плакала всю дорогу до вокзала, за что-то прощения просила — Наташа же ее и успокаивала. Она вообще спокойная была, держалась великолепно.

Простились около поезда. Наташа Маринку поцеловала, улыбнулась на прощание и ушла в вагон. Маринка стоит на платформе зареванная, проводник на нее косится, пассажиры оглядываются — еще семь минут до отхода поезда. Светает понемногу. И вдруг топот — бежит знакомый американец, расстаккивает всех. Маринка ему руками машет: “Сюда! Сюда!” — а он сам знает, куда ему надо. Пробежал ми-

мо, прыгнул в тамбур. И уже оттуда обернулся, поглядел на Маринку строго, пальцем ей погрозил... Потом раздвинул рот и по слогам: “Мерзавцы.” И ушел вглубь вагона.

После Наташиного отъезда в Америку, Марина завела переписку с Наташиной мамой. Пока училась, два раза ездила к ней на каникулах. И потом интересовалась, узнавала все новости про Наташу.

Может быть потому не могла ее забыть, что своя жизнь у Марины не сложилась. Она так и решила про себя: “Наташа уехала, потому у нее все хорошо. А я не сумела — чего же теперь ждать? Сама виновата...” — На этом остановилась.

Вдруг в 1987 году выпустили в Америку Наташину маму. Можно сказать, что на старости лет счастье ей улыбнулось — погостила у дочери, понянчила внуков. Когда вернулась домой, специально для Марины привезла посылку: джинсы, новый плащ, целая пачка цветных фотографий. “Готовься, — предупредила. — Теперь твоя очередь.”

И верно, через год пришло приглашение. Марина не стала с ума сходить от радости — время терять. Школу свою бросила в тот же день. Деньги на дорогу были у нее собраны, еще и Наташа прислала на всякий случай. Быстро оформилась и уехала.

Вернулась через полгода, пришла в свою школу устраиваться обратно, — а ее не узнать, совсем другой человек. Все ее обступили, ахают — она только улыбается счастливо. “Да, — говорит, — теперь можно умирать.” Приделась, отдохнула... В Калифорнию ездила с Наташкой, в какие-то еще неправдоподобные места. “А может быть, — говорит, — поеду опять через два года.”

— Ваша подруга не собирается побывать на родине? — спрашивают у нее в учительской. — Теперь это просто.

— У нее же семья, трое детей. Не думаю... И потом она работает, что-то переводит с русского. И потом — как бы вам объяснить... Её муж — ученый, так? У него определенный круг знакомств — они часто собираются, отдыхают в своем кругу — в общем, у них там своя компания, как и у нас бывает. Но не совсем как у нас. Короче говоря, так считается, что Наташка — самая лучшая жена. Все ее так прославляют за это, муж ею гордится — и вдруг она куда-то поедет... Не получается. Нет, ее бы отпустили, безусловно, но от нее этого не ждут.

— Как странно. И вы сказали — переводит? Хорошо выучилась по-английски?

— Мне трудно судить... Но знаете — русский язык стала забывать. Акцент появился. Такие ошибки иногда делает...

— Что вы говорите? Так быстро.

— Одиннадцать лет, и потом — она же молоденькая была, об этом не забывайте.

— И все-таки, я считаю, этот ее муж, если он хорошо относится, должен ей устроить такую поездку. Вы подумайте, одиннадцать лет не была дома! Бедняжка.

— Знаете, я вам сейчас скажу одну интересную вещь: ее муж думает, что Наташка сама не хочет к нам ехать.

— Это потому, наверное, что у нас такая бедность и талоны на мыло?

— Даже не в этом дело. Просто Наташку в свое время — за связь с этим самым мужем — выгнали здесь из комсомола, из института, отовсюду...

— Что вы говорите? Как интересно.

— Да. И он из-за этого так плохо стал относиться к нашей стране — вы себе не представляете. Это его пунктик. И естественно, он думает, что Наташка относится к нам точно так же, если не хуже.

— Так пусть она ему объяснит!

— Ну, знаете ли... Наташка прежде всего — хорошая жена. А что делает хорошая жена, когда она чуточку умнее своего мужа? Только одно: восхищается его умом.

— Но это... лицемерием немного отдает, нет?

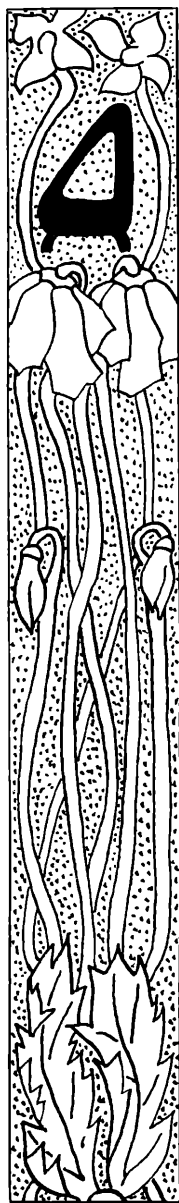
— Ну и что? Это мы тут привыкли говорить друг другу гадости — честность свою ублажаем, — а что хорошего?

— Одно дело — говорить гадости, а совсем другое...

Но тут директор этой школы, Люсинда Ефимовна, до сих пор молчавшая выразила свое отношение:

— Вопрос, на самом деле, сложный. Нет, это все понятно — жертвовать ради детей и так далее. Но если мужика не учить, он тебе элементарно и грубо садится на шею. Проверено не раз... Так что кончай разводить психологию, Марина Владимировна, а расскажи нам лучше про Америку.

Марина смеётся, усаживается поудобнее и начинает рассказывать про Америку.



группа о о с

Слово — иероглиф, в котором объединены смысл, звучание и изображение. Так считает поэтическая группа анаграммного стиха ДООС (Добровольное Общество Охраны Стрекоз). В нее входят поэты Елена Кацюба, Константин Кедров, Людмила Ходынская и художники, которые работают в иероглифической графике. Стрекоза — полупрозрачное, полупризрачное существо — символ безудержного полета и безграничного зрения. В сочетании ДООС слышится Дао — небесный путь, путь поэзии.

Поэзия — это море, в котором несется “Пьяный корабль” Артюра Рембо, лингвистическая магия. Говорить о реализме в поэзии так же нелепо, как ходить с ведром за водой, живя в доме с водопроводом. Язык метафоричен по своей сути. Мы пьем сухое вино, говорим о человеке, что у него железный характер или липкий взгляд...

Вначале было слово, а потом все остальное. Слово звучит. Казалось бы, бессмыс-

ленные звуко сочетания заговоров и заклинаний проникают в сознание и воздействуют на человека помимо его воли. Поэзия ничего не описывает, она соединяет несоединимое, заставляет летать нелетающее. Меняя направление звука, мы превращаем АД в ДА, АЛОЭ в ЭОЛА, АРБУЗ в ЗУБРА. Персфразируя Шекспира, мы говорим: поэзия — сцена, слова — актеры.



Графика С.Бордачева

Константин КЕДРОВ

ГРУСТНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ВЕЩЕЙ

Моно-но-аваре по-китайски
грустное очарование вещей
Высокое в китайском синоним сладкого
Высокое пирожное
южно-пирожно-нежное
Маца и Мицури
священный хлеб у древних евреев
и праздник почитания предков
у древних японцев...
Скиния по-японски микаси
Расстояние от Израиля до Японии
это разница между “скиния” и “микаси”...
между Фениксом и Хоо
между горой и ямой
ЯМА по-японски ГОРА

СТРАТОКУБ

Пролив и
прилив —
два бескрайних предела
в одном я купаюсь
другому немногим более
Я хочу воскликнуть — Александрия!
но невнятно все
и безгоризонтно влево
Картография света филигранная
импульсно здесь плавно это
и в будущем может быть отрицание
зависания
над секундой секунды
Прозрачен миг —
сквозь него проступает мгновение
О арракцион циферблатных лет
лифт немного
лифт вверх
СТРАТОКУБ —
эти буквы обозначают “айн”
Я не доверяю аккомпанементу
но я доверяю тому движению

где опрокинут даже не стакан
а скорее всего бинокль
Незаметен свет в середине дня
незаметна ночь в отражении
и пробуждении.

МЕЙЕРХОЛЬД

Государственная пустыня простирается через мрамор
в нём мертвые живы как отраженья
отшлифованные толпой.
Кто меня звал?
Неужели уже железо?
Нет ещё, слава Господу
звякнуло отлегло или откатило
многостаночная резня из металлургических дней.
Снова Камерный театр открывает заветные камеры
где убит Мейерхольд
как холодное море холода.
Meer kalt.

* * *

Зверь обернулся в шкуру
и свиток неба развернулся
огненные слова поглотил я в себе
горькие буквы читая
гдесь голубь горячий собой захлебнулся
здесь я обернулся
и снова увидел себя

Эти крылья справа спереди сзади
сверху снизу по углам внутри снаружи —
это только одно крыло
преломленное во всех пространствах
что нечетнокрылый улетает крыльями внутрь

Крест со всех четырех сторон
стекается к середине
здесь тайна твоя и моя
с нечетным количеством крыльев
в четырех измереньях души
сплетая раковин уши.

ЛОДКА

К востоку уплывает безвесельная птица,
она на мертвых крыльях ныряет в глубине.
Безликой базиликой
Озирис озарился,
осиротел Озирис в безносой вышине.
Заманчив этот облик
и этот запах пряный
из девственного лона
в межзвездное руно.
Озирис пьяный,
Дионис пьяный
уткнулся в дно.

ЧЕЛОВЕК СОСТОИТ

из Космос
Света
из связи Космоса-Света
из Любви
из ненависти
из Горла.
Горло состоит
из Любви
из Ненависти
из Света.
Ненависть состоит
из любви из ненависти из горла.
Вечером человек похож на щенка
утром на попугая
днем человек ни на кого не похож
ночью он похож немного на человека.
Сердце состоит из стеклянных вен
вены состоят из залетных птиц
птицы состоят из летящих вен
головы летят на середине дня.
Голова образуется из небес
небо образуется из головы
человек не здание и не тень
он в кармане птица а в птице зверь.
Человек состоит из веретена
он всегда вращается поперек
у него из горла растет цветок

у него в груди золотая тьма.
Я не человек дорогая нет
у меня нет горла
но я постель
у меня нет крови
но я кровать
караван — кровать
караван — сарай
на чужой каравай
рот не разевай.

Елена КАЦЮБА

АЗБУКА

Розы сами не растут —
их создает садовник, конструктор розы.

Он Р — заберет у грома,

О — отдаст рот,

З — закажут замок и загадка,

А — выдыхает май.

Роза в ней Ра солнца,

Ор восторга,

За согласия,

Аз вязи азбуки.

Аз — это А,

А — каталог интонаций:

А? А! А...

А — это всё,

Я — это я.

Идет алфавит от всего до меня.

Алая и Белая розы — это А и Б любви,

далее № Война Глаз, Дар Евы, Желание, Забвение,

Искренности Йод, Кошка Ласки, Мед Неведения,

Опиум Поцелуя, Разорение Сада, Тьма Упрека,

Фарфор Хрупкости, Церемония Чайная, Шёпот и Щека.

Ы — знак умножения: розЫ — буквЫ.

Значит переход на ты

не сделает тебя одиноким

в розарии азбуки,

Где Эхо Ютится

и в конце всегда Я.

НОЧНОЙ ПРОХОД

Срывающая знаки запрета
электросвета не любит,
когда выходит в ночь,
изгоняя из нас
запах зелья н е л ь з я .
Зеркало — зарок запрета,
в нем часть тебя запрета.
Вспомни о Л а з а р е —
выйдешь из з е р к а л а ,
пелену амальгамы разрезав
ножом из м о ж н о .

Срывающая знаки
пряди волос отводит от глаз —
две радуги рассекают ночь.
Прочь
череп фонарей!
Влажнее срезанной дольки лимона
луна сочится.
Отраженье, т я г о т е н ь е ,
зеркального Я г о т е н ь .

0 — ЗЕРО

Улитка вне... чего?
Улитка вне себя?
Едва ли
когда бы свой каркас собою вы назвали.
Улитка вне...
Вне черепа,
как любопытный мозг,
ловя лучи в себе насквозь.
Улитка вне небес?
Как небо вне воды,
как музыка — везде,
в нотный стан ей старт.
Ночной озерный лак роялен,
реален плеск и шелест в нем,
но днем
иные ноты:
до ос, и треск стрекоз,
и водяных жуков лихое ралли

на отраженьях облаков.
Улитка — ключ,
которым заперт мир внутри спирали.
Улитка вне времен,
улитка — воин,
рогатый страж бездонного ноля.

ЗЕРКАЛО ЕВЫ

(палиндром)

Аве, Ева!
Ума дай Адаму.
“Рад я, ем змея дар”.
Но мед — демон,
небу — бубен,
ночи бич он.
“Я — аркан-звезда, ад, зев, знак рая,
я луна нуля,
ада к раю аркада.”
Узор ангела лег на розу.
Нежен
летел,
Лад Евы ведал.
В аду зло полз удав.
“Ада кора — Зодиак, а там атака и доза рока? — Да!”

КЛУБ

Тайные участницы клуба
носят в сумках клубки,
искушая спицами спутников
по поездкам подземным.
В середине руки перетекает сфера.
Вязальщица сверяет ц-ц-ц
спиц и пальцев,
социума и цинизма,
а в середине мотка зародыш жизни
кормится червячками ч-ч
чулок и перчаток.
Вязальщицы — тайные арабы вязи —
отдают “вз” взгляда возникновению,
вызревающему в зернах петель,

распяленных в подземельях,
где взвизгивают колеса,
высекая “скр” искр из скрежета,
и скрипучее “ре” дверей
выпускает “ру” рук,
скрученных уже рукавом супружества.
Стянуты бантом Н жених и невеста,
сопряжены пряжной Ж муж и жена.
От Н к Ж мостик нежность,
лесенка желание к домику жизнь.
— Что это ты, бабушка, прядешь?
— Нить жизни нижу.
— Что это ты, мама, измеряешь?
— Ее протяженность.
— А что это девочка с ножницами бежит?
— Пир открывать пора!
Пир это πR ,
 π , умноженное на R ,
половина длины окружности.
Чтобы круг замкнулся,
нужно $2\pi R$,
пир внутри и снаружи,
пир крови и кожи.
Пиру — пир!
Здесь выпустят вас из
кожи, уже сожженной.
Здесь освободят вас
от двояковогнутых линз,
окрашенных железом,
заменяя Ж жизни на Ц свинца
цвета непроницания.
Здесь развяжут вязь вен,
распутают паутину нервов,
смотают волокна мышц,
спрядут кудель мозга,
скрутят в клубок,
пронзят его вибрирующей спицей
три пряжи-вязальщицы, три сестрицы,
тайные участники клуба,
хранительницы клубка,
направляющие спицами спутники вокруг планет.
А что будет потом
там,
каждый узнает один
сам.

Кто не видел пришипленной к небу луны
и вокруг нее гуляющего
Леля,
играющего
на свирели?
Это Персей в колыбели ночной
сторожит Снегурочку — Андромеду
по светлому следу.

Кто звездную сеть закинул в апреле,
вытянет Венеру — Астарту — Астрею.
И много чего еще гласят тайны,
скрижалями играя.
А время, которому циферблата не хватает,
из настенных часов вытекает,
забыв о вечности,
и на плите у Ляли
молоком убегает.

ИЗ-ЗА

Причалил огненный объем
на окосях
за-крытых глаз
и за-прокинутых ладоней
сегодня в воздухе ночном.
Сегодня комнаты ночной
распался правильный квадрат,
как за-бывают слово “нет”,
и тело
из-лучало
свет.

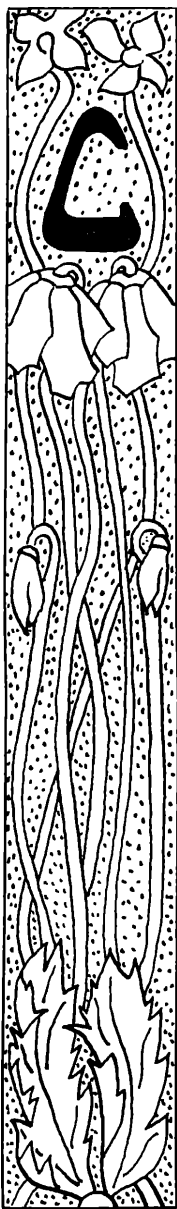
ТАНЕЦ

Четырнадцать танцев месяц сменил —
заклинал тьму.
Ты — танцовщица ночи
великолепно ловишь луну.
Ты невесома,
сон тяжелей твоего объема.
Старателей ночи помощница,
крадущая-ся тень-ю,
крадущая тень луны охотница
за лунным молоком,

сон пушистый лакает из чаши Сиама —
напиток Сома.
Твой колокольчик времен
вневременю верен,
когда склоняется
к ленивице
опущенных глаз,
зависнув на крылышках ЭР, Оса —
в шкуре пятнистого зверя
мягко стелется эр — о — эс.

КРЕСТ ПИРАМИДЫ

Рождает ночь фигуры,
они идут насквозь
в раскрытые зрачки
лунатиков, бродящих
в долине Гиза,
где спит пастух,
но сон его ненастоящий —
сон как бы каменный.
Сквозь времена сфинкс,
он пирамидными тяжел стадами.
Цветет миндаль,
он горек алтарем,
на вкус он — молоко от дыма.
Делимо дерево Иудино всегда
на крови алость и на крест.
И открывается тебе,
за что — бог вещь,
такая ширина познания в минус,
что в глубине долины зреет плюс —
все тот же крест,
что из себя сам вырос.



СУМЕРКИ

Петербургский литературно-художественный журнал "Сумерки" издается с 1988 года. Периодичность — 4 номера в год, объем — 160-180 страниц, в настоящее время вышло 13 номеров и 3 приложения: посвященное 70-летию со дня рождения А.И.Солженицына, книга стихов Дмитрия Григорьева "Неторопливый гребец", сборник "Игры в аду", выпущенный к 80-летию русского авангарда.

Первоначально журнал задумывался как журнал "тридцатилетних", того поколения, которое, по нашему мнению, было лишено "литературной среды", "поколения одиночек". Впоследствии задачи журнала расширились. В какой-то степени "Сумерки" продолжают традиции акмеистических изданий начала века.

Разделы: "Поэзия и проза", "Гласные и согласные", "Этажерка" (публикации), "Не город Рим живет среди веков..."

(раздел, посвященный городу: изобразительный ряд в литературном контексте).

Среди авторов Юрий Галецкий, Дмитрий Григорьев, Николай Байтов, Борис Беркович, Леонид Межибовский, Ирина Ильина, Олег Юрьев, Михаил Богатырев, Олег Григорьев, Сергей Седов и другие.

В журнале впервые опубликованы тексты Бориса Вахтина, Серафима Четверухина; читатели “Сумерек” познакомились с малоизвестными работами Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Николая Бердяева...

Постоянный состав редакции: три человека — Алексей Гурьянов, Александр Новаковский, Дмитрий Синочкин. Кроме того, в работе над некоторыми номерами участвуют Ирина Брондз, Ирина Ильина, Арсен Мирзаев, Александр Скидан.

Александр НОВАКОВСКИЙ



Всё громче рев цикад
На тяге в тот карман,
Где спрятан водопад,
Где всё сомнёт вода,
Собьёт в единый ком.

Но лодка и тогда
Не встретится с венком.

* * *

Бинт бумажный от рам
Отдираешь с болью и пылью,
Дернёшь форточку — сразу
Световая по комнате дрожь.

А над пасмурным озером
Ветрено хлопают крылья,
Поднимается в небо дракон.
Начинается дождь.

* * *

Жалко, что мы не осины, не тополи.
Были бы стройными, были бы ясными.
Мы бы пустеющий воздух заштопали
Листьями желтыми, листьями красными.

Осень была бы спокойною, статною,
Вовсе не страшною, раз не последнею,
Мы бы не рвались в дорогу обратную —
В жизнь нашу раннюю, в жизнь нашу летнюю.

Осенью едем назад в неизвестность
Может быть, смерть там, а может, Америка.
Только б еще раз проехать то место, где
Поезд идет подле самого берега.

* * *

Можно лес представлять, восседая в зеленой беседке,
Можно перья собрать, можно жить в соколином обличи,
Можно даже понять, как охотники выглядят с ветки,
Но когда в тебя выстрелят — ты закричишь не по птичьи.

Отодвинется задник, не станет деревьев прекрасных,
Опрокинутся статуи, медленно свалятся маски.
Будет самая высь, и не нужно ей даже согласных —
Только воздух не выдохе, боль и певучие связи.

* * *

Важней всего, чтоб сердце захотело
От песни веселиться или плакать.
Но мы во всем привыкли видеть тело,
И песня без костей — всего лишь

м
я
к
о
т
ь.

Бескостной песне легче удастся
Меняться, увлекать, меняя лица,
Но ей нельзя, ей незачем бороться —
Ей можно только медленно с

т
р
у
и
т
ь
с
я.

Мы любим в реках отраженья зданий,
Мостов, деревьев, птичьего полета.
И берега, без этих очертаний
Река перерождается в б

о
л
о
т
о

Почти для всех.
И в море для кого-то.

Борис ВАХТИН

ШЕСТЬ ПИСЕМ

(роман)

Письмо Первое.

Сударыня!

Сегодня снова получил от Вас обычное для Вас несколько странное письмо, и, как всегда, почувствовал растерянность.

Безусловно, Вы женщина незаурядная. Ваш слог прекрасен, Ваши слова не однообразны, ассоциации всегда неожиданны и, вместе с тем, тактичны. О чем бы Вы не писали — о горсти снега или о виде из Вашего окна, об интимной прелести, которая присуща откровенности незнакомых друг другу людей, или об огромной разнице перехода от бодрствования ко сну и ото сна к бодрствованию — всё полно искренности, но искренности изящной, наблюдательности, но наблюдательности не претенциозной, ума, но ума свободного от восхищения самим собой.

Я живу на Большом проспекте, недалеко от угла Введенской, в большом сером доме, во дворе которого пекарня и всегда пахнет сдобой и мокрыми дровами. Напротив дом, над его воротами дата — 1954. И растерянность моя вызвана тем, что странно, очень странно, живя в доме, из которого видна эта дата, в доме, во дворе которого пахнет сдобой, получать такие изяшные письма от совершенно незнакомой женщины. И уж совсем странно, что я пишу ей ответные письма, не зная имени ее и адреса, пишу и чувствую, что я взволнован, растроган, влюблен, что я счастлив получать эти письма и надеяться, что однажды будет день, час и миг чуда, когда она откроется мне.

А до того мне хотелось бы рассказать Вам немного о себе, ибо я, как человек одинокий, сумел глубоко узнать только одного себя, а другие люди менястораживают: я их не знаю, и мне кажется, что никогда не буду знать и понимать. Я даже поймал себя (и это случилось очень давно) на том, что предупредителен к людям и уступчив именно для того, чтобы они оставили меня в неведении о них, чтобы мне не пришлось вникать в их действительную жизнь.

Как я установил, со всех сторон наблюдая и изучая себя, одна из главных сфер, где я живу, это мои мысли и мое, большей частью фантастическое и с чужой точки зрения, вероятно, пустоватое воображение.

Мне и хочется начать рассказ о некоторых моих сегодняшних мыслях.

Не знаю, что Вы знаете обо мне, но, быть может, Вам неизвестно, что я работаю в Историческом архиве научным сотрудником. Слишком

долго было бы рассказывать о той цепи случайностей, которая притащи-ла меня в этот архив, о той цепи случайностей, которая удержала меня на одном месте, и о том спокойном удовольствии, с которым я откупа-юсь именно этой службой от окружающего меня мира. Так вот, я рабо-таю в архиве и ежедневно хожу пешком на работу всегда по одному маршруту. Этот маршрут долго вживался в меня: сначала он был мне интересен, затем наскучил, а сейчас снова становится мне новым, обо-рачиваясь ко столь многим фантастическим сторонам, что я немного да-же испуган, особенно последним, на первый взгляд пустяковым проис-шествием, которое, однако, чем больше я о нем размышляю, тем больше кажется мне невероятным, неправдоподобным, а, главное, таким, что не соответствует современным взглядам и представлениям. Я почел бы себя сумасшедшим только потому, что верю в то, что действительно воз-можно было подобное происшествие, если бы одновременно со мной его не наблюдала девочка лет одиннадцати, которая-то и обратила мое вни-мание на всю эту невероятную историю. Но, простите, я отвлекся, об этом происшествии я решусь Вам рассказать когда-нибудь позднее, ког-да-нибудь, когда впечатления от него перестанут так беспорядочно вол-новать меня и я смогу описать его, владея собой, а не подчиняясь ему.

Сегодня на работе у нас вымыли и оклеили на зиму окна, и чист-ые стекла, обрамленные свежей еще — белой бумагой, придали комна-те, где я сижу, и всем нашим сотрудникам какой-то чуть-чуть новый вид. Тени стали менее глубокими, лица посветлели и подобрели, и я с удивлением понял, что думаю о том, почему я никогда не принимаю всех людей всерьез, почему мне всегда чувствовалось, что они сделаны, по крайней мере, наполовину из чего-то неживого, так что если их ущипнуть, то им не везде будет больно? В них мне виделось что-то игру-шечное, кукольное, и мне вдруг показалось, что они об этом догадыва-ются, Они меня принимали все эти годы за своего, но чувствовали, что я не только их, но и еще какой-то. И мне стало казаться, что в грубой тер-минологии то, что я понял в день, когда у нас оклеили окна, можно вы-сказать примерно так, что есть в нашей комнате два рода людей: мате-риалисты, для которых мир действителен, реален, которые этот мир знают и понимают, умеют в нем разбираться и действовать, и не-мате-риалисты, для которых все люди существуют лишь тогда, когда общают-ся с ними, а всё остальное время как бы и не живут вовсе. Т.е., получи-лось у меня, что правы и те, и другие, ибо есть два мира, существующие рядом и никогда не смешивающиеся: мир идеальный и мир реальный. Это была для меня новая и интересная мысль, так как она объяснила мне, насколько важно не пытаться попасть из того мира, где ты оказал-ся, в другой, а, напротив, возможно полнее жить в своем собственном мире, избегая взаимно болезненных столкновений с людьми из мира иного. Попасть и невозможно, а между тем огромное большинство лю-дей стремится туда, куда они никогда не попадут. А это занятие томи-тельное, разрушительно действующее, как мне кажется, на наши жиз-

ненные силы, превращающее нас в тех ноющих и жалующихся постоянно на что-то людей, которых так много развелось сейчас, особенно в среде образованной молодежи.

По случайной ассоциации мне подумалось, что наиболее простой способ заинтересовать собой собеседника — это начать соблазнять его попытаться перейти из одного мира в другой, не правда ли?

Я чувствую, что слишком многословен, но меня извиняет, как мне представляется, то, что, во-первых, Вы очень доброжелательно просили меня быть возможно откровеннее и не стеснять себя соображениями насчет Вашей возможной незаинтересованности тем, что я пишу, ибо, как Вы писали, Вы не относитесь к людям, ленищимся искать занимательность в безыскусной прямоте мысленного движения и кто нуждается в таких пустяковых вещах, как лаконичность, сюжет, неожиданный поворот повествования, загадочные персонажи и прочие побрякушки, совершенным мастером которых мне представляется, например, Диккенс. Во-вторых же — и это, пожалуй, главное — Вы до сих пор таитесь и не даете своего адреса, так что мои письма читаю пока я один, и это делает для меня приятным писать их долго и обстоятельно, так как усиливает иллюзию обстоятельной беседы с Вами, насыщенной взаимопониманием и дружеским участием, которое является лишь малой частицей чувств к Вам.

Н.Греков.

Письмо Второе.

Сударыня!

Сегодня я вернулся с работы лишь немногим позднее, чем обычно, и вот узнал от соседей, что перед самым моим приходом меня спрашивала незнакомая им женщина, которая тотчас ушла, узнав, что меня нет. И вот я сижу и с грустью думаю, что это, конечно, были Вы, и как неудачно, что я задержался на Биржевом мосту, глядя, как осенний лед наваливается на бревенчатые быки. У меня в душе было тревожно, словно я забыл что-то сделать, но я посчитал, что это вызвано ледоходом и мокрым снегом, напомнившим мне, как много не сделано в жизни, как мало пришлось на мою долю дел и событий и как безвозвратно ушли от меня столь многие ледоходы. И я никак не мог понять тогда, что эта тревога вызвана Вами и ощущением того, что с Вами что-то происходит, что Вы где-то рядом. Как это жестоко, что Вы не подождали меня, и как это правильно и красиво! Я восхищен Вашим уходом не меньше, чем Вашими письмами: Вы заставили меня так много переживать, а стало быть, жить, что Ваш уход — это чудесный подарок, и я принимаю его, хотя и с долей горечи.

А сейчас простите мне эту откровенность и позвольте рассказать Вам, почему я считаю, что жизнь моя, столь богатая внутренне, была все же бедна событиями. Это небольшой рассказ о жизни одинокого человека (почему-то я не люблю слово “Холостяк”, хотя в эпитете “одинокый” есть нехороший привкус жалобности).

Как Вы, разумеется, знаете, любую жизнь рассказать выделив в ней либо то хорошее, что было, и тогда рассказ будет светлым, либо плохое, и тогда получится более мрачное впечатление. Это относится и к каждому событию, даже к каждому настроению, ибо повсюду есть разное, а стало быть, и возможности разного взгляда на вещи. Следующее простое и свежее житейское наблюдение поможет мне уточнить это отвлеченное рассуждение.

Когда соседи сказали мне, что Вы приходили и ушли, то чувство горечи, охватившее меня в первую минуту, вызвало где-то в глубине души чувство досады на соседей. И вот память, спровоцированная досадой, стала услужливо поставлять воспоминания о всех стычках с соседями, о всех неприятностях, принесённых совместной жизнью с ними, и эти воспоминания усиливали досаду, и вот уже (и все это еще не осознанно для меня) соседи представились мне чрезвычайно дурными людьми, и я в крайнем раздражении сказал им: “Как жаль, что она не подождала меня,” — и прошел в свою комнату. Но тут я понял себя, проследил весь ход внутренней демагогии, и — от противного — виноватая память тотчас стала вспоминать все приятное, что я пережил с ними, и они предстали передо мной как чрезвычайно хорошие люди. И все это в какие-нибудь пять-десять минут. Обычно стараются детски наивно добавить: “а на самом деле соседи то-то и то-то”, — но я давно понял, что это “на самом деле” не что иное, как иллюзия, от которой так же трудно отделаться, как и от многих других иллюзий обывательского реализма, не понимающего что такое движение вообще и движение человеческого духа в особенности.

Всё это я написал Вам для того, чтобы у Вас не возникло случайного впечатления, что мой рассказ о моей жизни есть нечто большее, чем настроение сегодняшнего вечера, вызванное Вашим посещением, Вашим существованием и той особой окрашенностью, которую Ваш облик придал ледоходу, вечеру за моим окном и углам моей комнаты, где теперь живет нечто, неразрывно связанное с Вами, так что все, что меня окружает, представляется мне сейчас зеркалами, отражающими Вас, — ту, которая сейчас во мне.

Итак, моя жизнь, как она рисуется мне сегодня вечером, протекала быстро и печально в своей внешности, там, где видимые события.

Я родился в той же комнате, где живу сейчас. В детстве я рано научился читать и стал много читать — всё, что попадалось под руку. Родные мои были люди образованные, но лишённые среды, достойной их, т.к. различные служебные и житейские неурядицы принуждали их к обособленности. Понятно, что они не могли не относиться несколько

свысока, порою снисходительно, порою даже враждебно к тем, кто не имел той духовной обогащенности, что имели они. И на мою беду их тон передался мне, равно как и их обособленность. Непосредственные впечатления и знания были у меня значительно беднее, чем сведения из других рук, и я смело говорил о предметах, о которых имел лишь самое неопределенное представление. Но в доме подразумевалось, что не зная, например, Стендаля могут только люди, которые хуже нас, а я не хотел быть хуже и не хотел принадлежать к тем, кто не “мы”, и потому создавал видимость знания Стендаля, порождающую зависимость мою от окружающих, ибо инстинктивно я чувствовал что-то неладное, и было важно подтверждение других, что все ладно, чтобы забыть чувство, что неладно.

Уже давно я одолел в себе стыд за самого себя, за незнание того-то, неумение того-то и неимение того-то, но мне дорого обошлось всё это, и воспоминание об этом — одно из самых болезненных для меня до сих пор, и я всегда думаю об этом, как о чем-то стыдном и унижительном.

Но наряду с этим я очень чувствовал всегда простые вещи, которые не требовали от меня никакой натуги, сад, куда меня водили гулять, песок, в который я играл, кот, которого по утрам я тихонько умолял прийти ко мне в постель, где я готовил ему удобное место, где я так ласково гладил бы его. И кот иногда приходил, и я помню до сих пор каждую подушечку на его лапах, которыми он мял одеяло, прежде чем лечь. Особенно же любил я летние поездки в деревню — такие слова, как лес, речка, верба, челнок волнуют меня до сих пор. Очень волнуют...

Так сложились основания моего характера. И в результате я был на войне, но не знаю, та ли это война, которую знают другие; любил, но не знаю, любовь ли это; трудился, но не знаю, всерьез ли это. Я не побоюсь даже сказать, что жил и переживал, но не знаю жизнь ли это и переживания ли это?

Такова и остается моя жизнь, когда за твердым покровом спокойствия и благорасположения скрыты недоумение, робость и какая-то виноватость. Недоумевая, я шел в атаку, недоумевая, мучился ранением, недоумевая, попал на работу в архив. Порою мне кажется даже, что то, что я живу в этом мире, — какая-то опечатка...

Но ваши письма породили во мне чувства, незнакомые прежде: надежду на то, что появится рядом со мной человек, который придаст мне уверенность в подлинности моего мира, человек, который сделает реальным пробегающие мимо меня тени, который спокойно скажет мне: “Ну, конечно же!” — в ответ на вопрос, есть ли действительно то, что есть во мне. Как это важно для меня — немолодого уже человека, не имеющего возможности прожить иначе то, что он уже прожил.

Такова моя жизнь, которую хотелось рассказать Вам. Впервые я рассказываю ее, быть может, оттого так сбивчиво и неясно, но пусть уж

остается все, как рассказалось. Ведь и жизнь была прожита так, как прожила — сбивчиво, неясно и без малейшей возможности переписать ее набело. Пусть же и рассказ о ней сохранит лучше искренность и жизненность первого слова, потеряв, разумеется, драгоценную стройность и слаженность беловика.

Простите это мнение, столь странное для историка, самая задача которого, казалось бы, и заключается в создании беловика минувшего.

Н.Греков

Письмо Третье.

Мой дорогой друг!

Когда я разрешаю себе так назвать Вас, я невольно думаю, как различны бывают слова, целиком завися от глубины понимания их теми, кто произносит. Эта моя мысль, как и все другие, нуждается в пояснении. Ведь когда человек совсем один идет по дороге, которую принято называть жизненным путем, его мысли становятся понятны только ему одному, ибо вся совокупность мыслей, в которую лишь частью входит эта отдельная мысль, хорошо знакома ему, и он не нуждается ни в тщательном формулировании частных, ни в заботливом соотношении частей: он всегда все знает, из того, что он знает, ему достаточно лишь припомнить то, что он помнит.

У слов есть глубина еще более увлекательная, заманчивая и беспокоящая, чем морская. В слово можно нырнуть, но чем глубже вы уходите от поверхности, тем вам труднее, а хочется все глубже и глубже. Или, быть может, лучше выразиться так, что у каждого слова есть тень, а в этой тени живут ассоциации этого слова, целая страна ассоциаций в тени каждого слова, и у каждого человека — своя. Есть страны пустые и нищие, есть противоположные им — словом, не стоит говорить, что страны эти весьма различны и разнообразны. Поэтому-то всякая словесная договоренность и всякое понимание по словам очень условны и приблизительны. Понимание по словам... Как много в таком понимании должно быть доверчивого непонимания, чтобы получить понимание!

Я люблю побродить в тени какого-нибудь слова. И, может быть, Вы не осудите меня, если я скажу, что теперь излюбленная мною тень это от слова “друг”, что обращено к Вам. И сейчас мне хочется немного рассказать Вам, что же сокрыто за оградой из четырех букв этого слова.

Прежде всего, в его тени существует особый аромат единственности, проникающей все и убирающей из тени все обычные и пошлые ассоциации, которые иначе проникли бы в нее из того кладбища слов и их сочетаний, которое находится рядом с живой речью и литературой. Точнее было бы сравнить это не с кладбищем, а со складом обмундирова-

ния, откуда каждый может получить стандартную вещь — слово, не наполненное личным переживанием и личными ассоциациями. Вред, приносимый этим складом, огромен, и судьба людей на земле была бы совершенно иной, если бы не было подобного кладбища, столь убийственно действующего на каждого человека, особенно в пору учения. В тени слова “друг”, обращенного к Вам, нет ни “милого друга”, ни “останемся друзьями”, ни “больше, чем друг”, ни “скажи мне, кто твой друг”, ни “желанного друга”, ни таких более хитрых и вживчивых ассоциаций, как “утраченные иллюзии”, как “готовность на все ради” или как звуки марша.

В тени этого слова есть что-то совсем другое, и каждый час, проведенный мною там, приносит мне новые открытия, ибо я знаю лишь малую часть глубин этого слова. Эти открытия тем приятнее, что совершаются они свободно и без надути и что чем больше открытий тем больше становится область неоткрытого.

Я обнаружил в этой тени один из эпизодов моего детства, когда я и девочка, жившая по соседству, ушли без разрешения в лес за рекой и нашли там черепаху, медленно тащившуюся по лугу из одной рощи в другую. Я поймал было эту черепаху, но потом отнес ее в ту рощу, куда она ползла, и отпустил. И когда я присел и смотрел, как уползает черепаха, я заметил веточку ландыша под крылом листа — и это был первый ландыш, который я видел не в вазе, а растущим в лесу.

А совсем рядом в этой тени мне открылся другой эпизод: я вспомнил тяжелую массивную старинную с огромной ручкой дверь, выходящую на лестницу. Напротив нее был камин, облицованный зеленоватыми плитками, поблескивающими в полумраке лестницы. И часто, позвонив, я подолгу ждал у этой двери, и смотрел на облицовку камина, и видел в ней морские дали, лунную дорожку и те далекие страны, куда судьба предназначала мне плыть, забыв прислать за мной корабль.

И в этой же тени слышался торопливый стук поезда, и чувствовал я прохладу кожи, и дышал синим небом. И узнавал я многое о слитных ритмах, об огромности человека и о том чудесном равенстве, когда я плюс не-я дает мое чистое я.

Но простите. Кажется, я до сих пор так и не начал письма — моя разговорчивость помешала мне, и я еще не пошел дальше обращения к Вам. Что ж, пусть это письмо так и останется состоящим из одного только краткого обращения “Друг мой!”, в котором Вы быть может, сумете прочесть чувства

преданного Вам Н.Грекова.

Письмо Четвертое

Как удивительно, что Вы словно читаете мои письма к Вам, которые до сих пор лежат у меня неотправленные! Вы правы, я действитель-

но хотел Вам рассказать кое-что, и это “кое-что” — тот эпизод, что приключился со мной недавно на обычном моем пути.

Хожу я всегда по Большому проспекту, потом у Тучкова моста сворачиваю к Биржевому мосту и иду по бульвару мимо цветочества, церкви и завода, а потом через Биржевой и Дворцовый мосты и Дворцовую площадь прихожу на работу, а вечером иду назад той же дорогой.

Именно на обратном пути все это и случилось.

Я шел, как всегда, спокойно и неторопливо, может быть, даже медленнее, чем всегда, так как тротуар был покрыт мокрым снегом, крупные хлопья которого валились и валились с неба. Мокрая каша снега чавкала под ногами, хлюпала и разбрызгивалась, и я услышал, что кто-то идет за мной.

Вскоре его шаги захлюпали рядом со мной, чуть-чуть сзади. Он с силой ставил ногу разом на всю подошву, и вот уже брызги — результат его неосторожности и небрежности — стали попадать мне на пальто.

Прежде случалось, что пьяные или просто недобрые люди приставали ко мне на улице. В их навязчивости всегда была известная истеричность и та слепота, от которой, очевидно, можно лечить только святой терпимостью или грубым насилием, вроде смирительной рубашки — средства, существо которых, как мне кажется, имеет немало сходного. И я всегда до последней возможности уклонялся от столкновения. Так и сейчас, я лишь ускорил шаги да пошел поближе к стене дома. Не помню сейчас как, но рядом со мной очутилась девочка, которую я прежде знал — она жила здесь на проспекте, и я часто видел ее сперва очень маленькой, потом постарше. Брызги от шагов попали ей в лицо, она повернула голову, посмотрев на мои ноги, думая, вероятно, что это брызнул я, потом взглянула подальше, протянула руку и взяла меня за край пальто.

Я остановился, а она сказала, указывая пальцем на тротуар: “Смотрите...”

Я посмотрел и увидел к своему удивлению и совершенному недоумению, что за мной никто не шел.

А мимо нас прошлепали по тротуару одни только следы, словно прошел человек-невидимка. Но это не был человек-невидимка, так как он шел напрямик, пролетая сквозь прохожих беспрепятственно. Девочка потащила меня за этими хлюпающими и топающими следами, и мы довольно долго шли за ними, отставая только на перекрестках, где мы переждали машины, не препятствовавшие следам.

Но вдруг следы остановились, повернулись к нам, как будто кто-то стал к нам лицом. Мы также остановились. Я уже пожалел было, что увязался за следами, не оставив их простой неприятностью, когда вдруг следы сорвались с места и стремительно бросились бежать от нас, оставив нас одних в том довольно пустынном месте, куда мы попали.

Чтобы отвлечь девочку от возможного и вполне понятного в ее возрасте страха, я принялся ей рассказывать волшебную историю, кото-

рую тут же сочинил на ходу, развивая какой-то эпизод из первого, что пришло в голову, — из “Снежной королевы”.

Слегка приглушенно, словно охваченная настроением моего рассказа и тех мест, по которым мы проходили, девочка задавала мне вопросы и постепенно у меня создалось впечатление, будто я предложил ей игру, условия которой она молча поняла и сейчас старается добросовестно в нее играть. Суть нашей игры была в том, что мы оба ни словом не намекали на только что случившееся, хотя я неотступно думал об этом, а также о том, что и девочка, наверное, переживает этот непонятный случай, внешне ничем не выдавая себя благодаря нашей игре.

Такова эта история, которая, быть может, не годится для письма, ибо заслуживает рассказа устного, более подробного и умелого, но мне нужно было поделиться ею с Вами — единственным человеком, который слушает меня с пониманием и доброжелательством, по существу, единственным, в ком я надеюсь встретить и всегда встречаю ободрение и тот тонкий ум, которому будет понятно, как много значил для меня этот небольшой случай на моем обычном пути, причем понятно без губительных для настоящего понимания объяснений.

Хотя я и знаю, что Вы не получите этого моего письма, как и предыдущих, но мне хочется поблагодарить Вас за внимание, с которым Вы слушали меня, и сказать Вам, что истинное счастье я испытываю, получая от Вас письма, читая и перечитывая их.

Ваш Н.Г.

Письмо Пятое.

Сегодня я воспользовался тем, что все мои письма к Вам по прежнему лежат у меня в столе, перечитал их и понял, что они представляют собой не что иное, как подготовку к этому моему письму, которое после долгих раздумий и колебаний я решил Вам послать, т.е. пока что не послать, а лишь написать его в ожидании того момента, когда оно сможет попасть в Ваши руки.

То, к чему я бессознательно готовился, настолько же просто, насколько и непросто, а потому я еще не знаю удастся ли мне сказать все кратко или потребуются длинноты, за которые заранее прошу простить.

С лестницы нашего дома видна улица, и иногда я останавливаюсь на площадке третьего этажа и смотрю на троллейбусы, автобусы, на пешеходов, на огни, на весь этот, если можно так выразиться, суп, который кто-то мешает гигантской ложкой. Меня равно интересует и торопливая, уверенная в себе и довольная своей уверенностью молодежь и люди средних лет с выгравированными на лице заботами, усталостью и однообразием занятий, и старые люди, ушедшие в себя и неторопливые. В движении улицы мне кажется что-то близкое тем белым кольцам, которые вьет в небе реактивный самолет, тем дрожащим линиям

строк, которые набросаны в газетах, наконец, мотоциклетному таракану и дрожанию.

Я вижу, что жизнь идет быстро, а я в своих размышлениях и внутренних переживаниях также иду очень быстро, но только идем мы с ней на одном месте.

И я перестаю смотреть на поток улицы и поднимаюсь к себе.

Теперь я не одинок в своей комнате — меня ждут Ваши письма. Я читаю их и перечитываю, и представляю Вас в тот момент, когда Вы писали мне. Я представляю Ваш тонкий и умный профиль, неожиданную и острую манеру говорить, ту жизнерадостность, которая наполняет все Ваше существо, и Вашу исключительность. И мне становится совершенно ясно, что я давно-давно, еще задолго до Ваших писем, ждал Вас, тосковал без Вас, что Вы — это единственное, что мне нужно от жизни. Это единственное, что мне нужно от света в окошке, от воздуха, единственное, что созвучно переживаниям детства, моим мыслям сегодня. Собственно, единственное, ради чего я жил.

Вот и все, что я хотел написать Вам в этом письме. Остальное, надеюсь, Вы поймете.

Н.Греков

Письмо Шестое и последнее.

Многоуважаемые Клавдия Ивановна и Алексей Николаевич!

Мне, к моему прискорбию, совершенно непонятно ваше обращение ко мне, полное таких выражений, как “мы не то, ради чего Вы жили”, “это не более, как шутка”, “стиль, выражения и даже целые письма взяты нами из прочитанных нами недавно писем Каролины Бемёр”, и с бесчисленными просьбами “извинить”, “простить”, “не сердиться” и т.п.

Как вы далее пишете, вы живете в том же доме, что и я, часто наблюдали меня в окно и решили невинно подшутить, посылая мне письма, а под конец вам удалось проникнуть ко мне, прочесть мои письма, и тогда вам стало неприятно и совестно, и вы просите простить вас...

Я не понял ни слова, и здесь какое-то недоразумение. Мне совершенно не за что прощать вас, а вам нет причины просить прощения. Вы ни в чем передо мной не виноваты. Не знаю, удастся ли мне объяснить вам одно существенное во всем этом деле обстоятельство, а именно то, что — как ни странно это прозвучит — вас нет... Вас настолько нет, что я не пошлю вам это письмо, хотя вы и даёте ваш адрес, отвечу же вам лишь потому, что привык отвечать на все письма, даже если они приходят от тех, кого нет.

Я очень прошу простить меня, мне очень жаль, но я ничего не могу поделать — вас действительно нет, и это, к сожалению, не шутка.

Скоро я уезжаю отсюда вместе с той, которая, как я и ожидал, читая ее письма, пришла разделить со мной мою участь. Мы провели в этом городе вместе несколько дней, а теперь уедем далеко-далеко в те места, где прошло мое детство, и где до сих пор, как я уверен, сохранился сад, речка, лес за речкой, и где теперь мы всегда будем вдвоем.

Примите мой привет

Н.Греков.

Юрий ГАЛЕЦКИЙ

* * *

В немоте параноичной
палачей не мучат сны,
в темноте многоязычной
междометия одни.
И щегол, вмерзая в прозу
века жёсткую, поёт,
и кремлёвский мафиози
ночью трубочку сосет.
Обезьянка дремлет грустно
в клетке, ибо мир — тюрьма,
а в Берлине бедный русский
отпускает свой роман
на свободу — и родную
бормоча себе строку,
на урок идёт-танцует
к молодому дурачку.

СТИХОТВОРЕНИЯ

И губерния пишет
строчки нервные птиц на полях,
занесенных золою,
а нам с тобой ехать и ехать
мимо голых болот,
называемых нынче — земля,
где уже, Боже мой,
не бывать человекам.

Что же, в этом есть смысл —
и, наверное, свой.
И, наверно, прекрасно
соскочить с ходу и податься
в обезлюдевший хор,
в тишину, позабывшую вой,
страх и скрежет —
и в ней навсегда потеряться.

* * *

Ирине Ратушинской

Больные птицы Господа, одни мы.
Давно не виделись, — пишу. Окно, стена.
Давно не виделись — и что здесь изменилось?
Все тот же дождь и на столе вино.

Страницы слышишь полуночный шелест?
Письмо, в котором наши имена
пригвождены к посмертным воскрешеньям,
а души — к одиночествам иным.

* * *

Леониду Аронзону

Больные листья новых октябрей.
Записки осени, скудные письма ночи.
И что еще? Извозчик, слякоть, бред,
где — улица, фонарь, пивная.

Что может знать не знающий любви! —
перевожу души тревожный шёпот.
Свободу тайную, где спичка и печаль,
деревья вытанцовывают сад свой.

Играют осень эти небеса.
Нева себя, надменная, играет.
Передо мной гравюра города. На ней:
иду — и дождь выстукивает тростью.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОДНОЙ ПРОГУЛКЕ

Михаилу Генделеву

Нева декабрьская. В обрез
нам времени — и посторонне
проходим сфинксов, фараонов,
держа или держась за речь.
И вся-то радость — танец губ.
Пирамидальное пространство
сощурилось на чужестранцев,
гуляющих себе в пургу.

Снуёт снежок пустынный. Всё
снежок, снежок над Римом третьим.
И в черноречинском балете
болтаемся — о том о сем.
Бардак, похожий на барак.
О, сыпь лаксйских междометий!..
Бежать восточных сентиментов.
От бреда — не от топора.

Ещё не та война. Уже
не эта — и арап печален
строкою смуглой и курчавой.
Душа, изобрази сюжет,
в котором горе — не беда,
и появляется во поле
герой, оплаканный здесь, после
прощаний русских навсегда.

Снежком попробуем портрет
вождя племен на прочность. Рядом
мента ли нет? — невольным взглядом.
Взгрустнем о перемене лет
и улыбнемся, ибо в ночь
очередной зимы хреновой
пьем, Боже! Семьдесят Седьмого
пьем, Боже! майское вино.

ЗНАКИ НЕСОГЛАСИЙ

Сначала описываются муки творчества. Бледно. Полторы страницы. Зачем это? Глупо. Перечёркивается.

Описывается вечер. Тяжелое состояние. Тоже муки. В том смысле, что вечером настает какое-то тяжелое время: вечер чего-то требует. Не знаешь, куда себя деть, чем заняться и т.п. Все в общих словах, совершенно неудовлетворительно. Перечеркивается.

Несколько проб:

“Андрей сидел”

“Андрей ходил по комнате”

“Андрей открыл окно. Внизу”

Всё зачеркивается..

Описывается женская нога в чёрном чулке с чешуйчатыми блестками. Оставлено место до конца страницы.

С нового листа:

Описывается деревня, в которой отключено электричество: ураган порвал провода. Ливень. Мрак. В избе протекает крыша. Тот же самый, по-видимому, Андрей пытается растопить русскую печь. Дрова сырые, или он не умеет, но только изба наполняется дымом. Полторы страницы. Неплохо, но опять перечеркнуто. Из-за того что смешно. Нет, видимо, показалась недостаточно экстремальной...

Описывается Андрей в молодости: еще совсем мальчик, после школы. Геологическая партия в пустыне. Нефтяной район: Южный Мубарек. Палатка. Декабрь. Холод. Кругом тончайший снег, скорее иней... Все ушли утром, оставили его готовить обед. Обед давно готов, давно остыл. Темнота, десять часов вечера. Никто не идет. Он принимается разогревать обед — в третий, наверное, раз. Заливает бензин в паяльную лампу. Бензин попадает на руки и сразу испаряется. Руки коченеют, не слушаются. Паяльная лампа фыркает, плюется. Никак он ее разжечь не может... Перечеркнуто.

А, я понял: видимо, экстремальные ситуации его вообще не устраивают. Глубоко копает. Хочет шагнуть за постмодернизм?

Я перевернул назад: всего пять страниц! Вот это скорость! А ведь начинал: с депрессивных рефлексий прыщавого подростка из лито... Ну, что дальше? —

Описывается та же деревня, но только утром, после урагана. Турман. Моросящий дождь. Электричества нет по-прежнему. Но нет и никакого Андрея. Старушка. Печка топится нормально, крыша не течет. Вдруг приходит участковый. “Ну, как поживаешь, Тимофевна,” — и т.п. — “Погодка-то, а?” — и т.п. — “Колька-то давно писем не слал?” — Ну, кинематограф! Сейчас этот Николай, бежавший из мест заклю-

чения, выйдет из подклети, как только участокный удалится... Так и есть! Однако... Летчик, военнослужащий. Сорок лет. Бросил службу и ушел через границу. Как? — это отдельная, говорит, история. Где-то там, на Западе, болтался год, потом вернулся, — тоже тайком. Прятался у жены в Ростове-на-Дону. Жена проболталась в разговоре с подружками, не утерпела. Он успел улизнуть в последний момент, когда его уже шли брать... Приводятся пояснения: нелегальный переход границы (соответствующая статья — до трех лет...) хм, не врет? — если он совершен военнослужащим, находящимся на действительной службе, влечет ответственность по статье “измена родине”, — это, конечно, больше. Тимофевна охает, кивает, всплескивает, конечно, руками: все это заметно превосходит предел ее понимания... Но тогда заметно и то, что пояснения приводятся не для Тимофевны, а для читателя. Шито белыми нитками!.. Однако... Хм, с крышей-то как у него? (т.е. у этого Николая)... Что-то у него во всех этих рассказах, даже в самой речи... Неплохо написано.

Ну вот, усомнился: там бросил, и с нового листа — Да, так я и знал:

Описывается палата в институте Сербского. Стеклянные двери. Замки очень простые, как в вагоне поезда: четырехгранный штырек в дырке. Контрабандист-миллионер играет в шахматы с летчиком Николаем. Нет они, оказывается, только делают вид. На самом деле, Николай тихонько вытаскивает из фигуры коня отмычку для двери. Третий человек — мрачного вида фашист, из младших штурмовиков, — читает книгу на своей койке. Ему грозит вышка: он применил каратэ и покалечил нескольких оперативников, одного убил. В его обязанности входило охранять каких-то боссов. Боссы благополучно ушли. Больше он ничего не рассказывает. Контрабандист не понимает, почему штурмовик не хочет уходить в ними. “У меня полтора миллиона в Мюнхене, нам хватит на всех троих — вот так! И проход у меня есть вполне надежный.” Штурмовик молчит. Видимо, так надо понимать, что для него есть сила более страшная, чем советская тюрьма и даже советская вышка. А для этой силы, так надо понимать, он одинаково достигаем, что в Москве, что в Мюнхене... Да, все это сделано довольно аляповато. И правильно, что зачеркнуто.

Описывается Черное море. Между Ялтой и Новороссийском. Берегов не видно. Штиль. Полдень. В надувной лодке сидит Николай и юная Оксана. Ночью они выбросились в море с пассажирского теплохода. Третьим с ними какой-то парень, которого Николай посылал в Новороссийск фотографировать на рейде силуэты иностранных судов. Но когда выбросились в море — тот парень на второй лодке, — оказалось, что никаких фотографий у него нет: то ли он не сумел их сделать, то ли еще чего, — в общем, дурак, оказалось. Разгневанный Николай его прогнал, и парень отплыл куда-то. Теперь Николай не знает, что делать. У него ракетница с одной ракетой. Сам он поехать в Новороссийск не мог,

потому что на заводе, где он работал после первого побега и после трех лет спецпсихушки, за ним было установлено наблюдение... Дальше, конечно, следует то, что было задумано автором и было ясно читателю с самого начала отрывка. Николай начинает любить Оксану. Та отдается с удовольствием. В надувной лодке неудобно, но они, видимо, уже не в первый раз, — наловчились. Разговоры. Оказывается, Оксане нет еще восемнадцати лет, а он не знал об этом. “Как же ты не замечал, что я уходи с работы на час раньше?” Любовь продолжается с полчаса (полторы страницы), потом на горизонте появляется корабль. Фотографий нет, опознать по силуэту нельзя. Единственная ракета — единственный шанс. Николай начинает грести, чтобы выйти на линию его курса. Потом выпускает ракету. Вот корабль совсем рядом... Осечка: это советский крейсер, шествующий с дружественным визитом в Болгарию... Оказывается, Николай запаса и мегафоном. Он принимается бойко по-английски: “Помощь? — Нет, от русских мне ничего не надо. Я ошибся... Я — турецкий подданный... Здесь с подругой... У меня яхта...” и т.п. Крейсер величественно удаляется. Больше шансов нет. Сегодня воскресенье — последний день его отлучки. Если завтра он не появится на заводе в своем Ростове-на-Дону, то граница будет приведена в боевую готовность и небо наполнится вертолетами. Но получается, что Оксану это уже как-то не волнует. Бедная девочка ошалела. Еще в виду уходящего крейсера она опять снимает купальник и садится на бедра безудешного бывшего военного летчика. Но... — полторы строчки — и все, весь отрывок решительно перечеркивается.

Да... В такого рода прозе что-то, что-то такое есть, — вечное... Я задумываюсь и закуриваю. “И носило меня, как осенний листок... У меня под подушкой ночует Лесков: очарованный странник — громила, как Гандлевский на пачке “Памира”... На самом деле, там пребывает поэт — в сокровенных глубинах моей души, — а никакой не прозаик и тем более не критик... Но — прочь слабость. Стыдно. Вернемся к делу.

Идут наброски: отрывки каких-то разговоров:

“Почему же ты не бежал из Серпов? Ведь там было проще.

— Как же — проще! Там посадили этого ханурика, он нас заложил. Да и не одних нас...”

Видимо, речь идет о фашисте. Теперь понятно, почему тот фрагмент зачеркнут: ошибка: он не мог отмалчиваться, если был провокатором.

“Я бежал только для того, чтобы привлечь внимание к моему делу. И я своего добился: теперь вам придется отправить меня в Москву...”

“Я не думал, что обявят всесоюзный розыск. Хотел отсидеться в Ташкенте... Через оцепление я проехал на автобусе. Когда вошел патруль, я обнял девушку, рядом с которой сидел, и начал хохотать и отпускать шуточки в их адрес. Запомни: смех очень меняет лицо... Он наорал на меня, а потом забыл спросить документы...”

“У меня были мои фотографии в летной форме, с семьей. Я дваж-

ды показал их, когда в Ташкенте попадал в облавы. Меня отпускали. На третий раз не прошло... Запомни: число три — решающее...”

Описывается мужская рука, левая. Запястье. Предплечье. Страшные порезы в нескольких местах: вены перекручены небообразными узлами и зашиты. Все это давнее: давно заросло, белесые шрамы...

Описывается процесс принудительного кормления* голодающего через резиновый шланг. Голодающий привязан к койке. Три санитары: один разжимает зубы, другой придерживает язык ложкой, третий запикивает шланг в пищевод. Зачеркнуто: по-видимому, все это происходит не так.

Описывается, как мать будит маленького мальчика Андриюшу в школу. Он первоклассник. Не хочет вставать. Осень. Мать раздвигает занавески, за окном льёт дождь. Темно, тусклый рассвет. Мать включает электричество. “Погаси”, — кричит мальчик и плачет. Мать гасит свет, выключает телевизор. Идет программа “120 минут”. Мальчик перестает плакать. Мать уговаривает его одеваться. Он не реагирует. Сидя на постели, неподвижно глядит в телевизор. Она трогает его лоб, ставит градусник. Сама идет на кухню варить кашу. Мальчик с градусником подмышкой слезает с постели, подбегает босиком к телевизору и выключает. Возвращается и ложится, натянув одеяло на голову. Через пять минут мать приходит, берет у него градусник: температура нормальная. Все это написано очень длинными фразами. Вернее, весь отрывок представляет собой одну фразу, разделенную на четыре части при помощи точек с запятой. Описание предельно замедленно и измельчено множеством подробностей — предметных, однако, а не психологических. Вообще это мне нравилось бы. Но как-то неуклюже. И — зачеркнуто. Я так понял, что зачеркнут именно неудачный опыт стиля, а не ситуация с ее аранжировкой. Посмотрим, будет ли дальше...

Снова принудительное кормление. На этот раз шланг просовывают через нос. Вот это, наверное, правильно (потому что не зачеркнуто). А рот при этом зажимают рукой, чтобы голодающий дышал носом и одновременно вытягивал бульон через другую ноздрю и пищевод.

Описывается непонятно что. Какие-то обрывочные реплики. По-видимому, мужчина и женщина. Какой-то сарай, темнота. Темноты почему-то недостаточно. Какой-то фотоаппарат. А, вот что: по-видимому, мужчина перезаряжает пленку: он велит женщине закрыть свет, идущий из какой-то щели. Все равно это как-то не очень ясно. Оставлено место до конца страницы. Похоже, что отрывок опять связан с “очарованным странником” Николаем. Я забыл сказать: там раньше упоминалось, что он работал фотографом после первой отсидки в психушке.

С нового листа:

Описывается шоссе — ночью, зимой. Летит снег. Грузовая машина. Останавливается, немного не доехав до развилка. Из кабины вылезает человек, что-то говорит, захлопывает дверь. Грузовик уезжает влево. Человек — далее он именуется Георгием Владимировичем — идет

по правой дороге. Метров через сто останавливается. Машин нет. Темнота. Ветер несет снег с той стороны, откуда он пришел и куда он теперь смотрит, переминаясь с ноги на ногу, прохаживаясь вдоль обочины туда и обратно, высоко подняв плечи и, разумеется, втянув голову в поднятый воротник пальто и засунув руки в карманы... Перечеркнуто.

Хм, что-то такое, по-моему, уже было. Листаю назад... Ничего нет, за исключением отрывка в самом начале, где Андрей пытается разжечь паяльную лампу. Однако там совершенно другое — и по стилю и по тону — и по всему... Странно, почему мне показалось...

Теперь тот же маленький мальчик Андруша — описывается в школе, на перемене. Пять мальчиков носятся по коридору, гоняя пластмассовую кеглю вместо меча. Валяются друг на друга нарочно. Андруша пытается бегать с ними, но это не очень-то получается: они на него мало обращают внимания. Он встает в сторонке и, взяв другую кеглю, подносит к губам в виде микрофона, начинает комментировать: "Опасное положение... Бросок... Вратарь падает... Да, "Нефчи" сегодня никак не удастся открыть счет" — и т.д. Его никто не слышит из-за шума. Он комментирует негромко, ни к кому не обращаясь, — для самого себя. Несколько девочек пробегают мимо и, толкаясь, забегают в класс хлопывают дверь. Сверху над дверью: "Кабинет воспитания культуры поведения". Вдоль стены ряд картинок со стихотворными надписями. Например: "Если ты проснулся рано, встань скорее, не лежи. Быстро вымойся под краном, "с добрым утром" всем скажи". Появляются ещё три мальчика, которые идут по коридору в обнимку и сквозь хохот кричат слова какой-то песни или стишка. Понять невозможно: последние полторы строчки жирно зачеркнуты. Потом вариант: "Пора-пора-порадуемся на своем веку красавице и кубку, счастливому клинку..."

Снова описывается шоссе. Ночь, только уже не зима, а конец лета: август, по-видимому, или сентябрь. Стоит этот Георгий Владимирович, тянет руку. Со страшной скоростью мчащийся мимо "лада-спутник" вдруг останавливается метрах в тридцати позади него. Он бежит туда радостный: повезло. Открывает дверь, садится. Там совсем молодёе мужчина и женщина: наверное, только что поженились. Женщина лежит на заднем сиденье, укрывшись пледом. Георгий Владимирович, разумеется, спрашивает, далеко ли едут. "В Ригу, — отвечает парень, — если только доедем." "Мы уже проехали сегодня семьсот километров," — объясняет юная жена. Парень молчит. Георгий Владимирович тоже как-то пока не находит темы для разговора. Он смотрит на спидометр: там сто тридцать. Он молча радуется и боится загадывать... Юная жена начинает рассказывать — якобы мужу, но что-то явно показное и снобистское — про каких-то родственников, про какие-то фильмы, статьи. Парень не отвечает. Георгию Владимировичу противно: "Это она для этого сказала ему меня взять" ...Проехав всего километров пятьдесят, парень останавливается в каком-то городке — он не успел прочесть указатель — и говорит, что больше ехать не может. Они все

вылезают из машины, и молодежьны идут стучаться в запертую гостиницу. Георгий Владимирович отходит в сторону, наблюдает. Не достучавшись, те возвращаются и ложатся в машине. — Перечеркнуто.

Описывается человек, идущий по шоссе. На этот раз без имени: “я”... Кажется, впервые повествование от первого лица. Перелистываю назад, бегло просматриваю: да, впервые, если не считать набросков отдельных реплик. Но, конечно, это не значит, что данный отрывок в большой мере личный опыт автора. Скорей наоборот... Николай-то, нет, конечно, — но вот Андрюша — не первоклассник, конечно, а тот, юноша... Так, ну, здесь этот некий “я” идет вдоль шоссе. Тоже ночь, тоже август. Позади луна — почти полная: он идет на юго-запад. Изредка проезжают машины, но он не пытается их остановить. Видимо, идет он уже давно. Луна довольно ярко освещает окрестность. Он видит за по-лем лесок и там, на краю поля, что-то... Он сворачивает туда, — да, это действительно стог сена. Устраивает себе ложе. Пытается заснуть. Мыши шуршат. Кое-как задремывает. — Сено колется. Неудобно. Все-таки ноги отдыхают... Часа через два, когда луна взошла совсем высоко, уменьшилась и побелела, поголубела, — он встает, — ему самому так и не ясно, спал он или нет, — встает, рюкзак свой, легкий, полупустой, надевает, возвращается к шоссе и продолжает идти в том же направлении куда шел, так же размеренно, однообразно. — Перечеркнуто. По сути, это все то же. “И носило меня, как осенний листок... Я в весеннем лесу лег в некошенный стог... А певунья в нехоженном море отдается духарику — Коле”... Риску высказать подозрение, что перечеркнуто на сей раз именно из-за формы первого лица. Он никак не может разделить две задачи: ситуативно-знаковую и тонально-знаковую, т.е. стилистическую в широком смысле. На самом деле, все, что он написал здесь до сих пор — это одна бесконечная попытка — развязать, расслоить эти задачи, спутанные и склеенные в его сознании, т.е. даже не в сознании, а в каком-то моторном навыке.

Я снова закуриваю.

Тетрадь подошла к концу: остался один лист. Сначала наброски стихотворений, которые, видимо, следует отнести к фрагменту с первоклассниками на перемене:

“Когда был Ленин маленький, с курчавой бородой, он был похож на Сталина, как брат его родной.” Зачеркнуто. Но не жирно.

“Повар моет помидоры, летчик чистит огурцы. Самолет летит по морю, пароход упал в кусты.”

Потом — последняя запись — набросок разговора. Неизвестно кого с кем. Я так думаю, что это мальчик Андрюша и его отец:

“— Дедушка мне сказал, что молчанье — золото. А ты говоришь, что молчанье — знак согласия.

— Ну...

— Что же — дедушка не прав?

— Прав.

— Значит, молчанье — золото?

— ...”

Да... Попробовать подвести итоги? — Из девяноста восьми тетрадных листов (исписанных с одной стороны)... нет, здесь меньше: видимо, несколько вырвано... лень пересчитывать... Все перечеркнутые фрагменты в сумме занимают одиннадцать листов. Фрагменты оставлены такие:

1. описание женской ноги в черном чулке с чешуйчатыми блестками (нео-НЭПовская халтура: так и видишь, как эти блестки обсыпаются при первом решительном прикосновении; стало быть, можно датировать начало тетрадки 87-88 годом... точнее, наверное, не получится);
2. деревня утром: Тимофевна, участковый, летчик Николай;
3. четыре отрывка из разговора о побеге;
4. описание мужской руки со шрамами;
5. принудительное кормление через нос;
6. мужчина и женщина в сарае с фотоаппаратом;
7. первоклассник Андрюша в школе на перемене;
8. четверостишие: “повар моет помидоры”;
9. “дедушка мне сказал” —

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

АВТОСТОП

И, прощаясь со мной,
улыбнись обязательно,
приветствуй рождение дорожного знака:
не предупредительного, не указательного...
всего лишь... повествовательного —
— точки, бредущей по линии тракта.

* * *

Возьми мяту на память, я засушу подорожник и хватит,
праздник должен кончаться, на то он и праздник,
принц в колеснице тебя увезет поутру...

он погонит коней, не заметив
листа подорожника в небе,
он тебя поцелует, не почувствовав запаха мяты.

* * *

А меня заговорили
от железа и от камня,
от огня и от воды...
Мне теперь огонь не страшен
и железо — как солома,
камни я легко кидая
и бежит меня вода...

Только грустно почему-то
очень грустно.

* * *

Круглые крышки люков —
глаза моего двора.
Мне мама говорила:
— не наступай, ты можешь провалиться,
а доктор спрашивал:
— Когда ты ходишь по земле,
боишься трещин?

и мама говорила: — Не наступай...
А в люках что-то капало, бурлило,
весной туда бежали лужи,
и на сухом асфальте
чертили мелом классики девчонки,
и вся-то их игра была:
“не наступай”.

Слова гудели, словно мухи,
и доктор спрашивал:
— Боишься? —
ножом грозил из-за халата,
а листья падали —
— и осень наступала,
а мама говорила:
— Не наступая, ты можешь провалиться.

* * *

Часто кажется: впереди — ночь и
позади — ночь,
ветер носит снежинки — сплошная вода,
меня приглашают:
чужие праздники, чужая трава и чужое вино.
Часто кажется,
что мои руки — красные снегири
Давно живут внутри лестничной клетки,
греются в ребрах — батареях,
но не поют.
Никогда не поют.

* * *

Я попросил стеклодува
вделать мне шар стеклянный,
говорят, он приносит счастье...

Шар был настолько легким,
что его унесло под крышу,
там и разбилось
мое стеклянное счастье.

Теперь осколки
хрустят под ногами.
А я учу сына
выдувать мыльные пузыри.

Олег ЮРЬЕВ

МИР-МЫЛОВАР

И сколько б ты жизнь — говорю же я! — не миловал,
И сколько б ты не пил из извечно-сухой ладони,
И пускай бы и допил, чего уж... — мир-мыловар
Уволочёт всё одно её в черном своем фургоне.

Видишь? — приотставшего дыма лысеющее кольцо
Передергивающаяся спина прихрамывающего мыловара
И она, что взглядом прощальным в твое лицо
Его навеки отмеловала.

Свет очищенья, очерк иного дня
И перекрещивающиеся лучи на темном всё ещё теле —
Вот что останется — говорил же я! — от меня.
Все, что останется в памяти и на прицеле.

1987

ПРОЩАНИЕ У МОСТА

Грибным, грубошерстным мясом
Гранит чернеет с излома,
Вдыхая всей плотью свеченье
Узенького заката...

О столь здесь река поката,
О столь-здесь её течение
Наклонно к небу, что с лона
Соскальзывают лучи.

И этим прощальным часом
Так розовато, так серо
В каменном вертограде,
Особенно здесь, у моста...

Лучам, тем проститься просто. —
И даже на Германдаде
Несколько их осело,
Чтоб умереть в ночи.

1989

ГОСТЬ

Черноречного неба излучина,
Где ограненных волн — без числа,
Где луны полусбилась уключина
От безвидного тренья весла;
Где миры с их сияньем и косностью
Из окошка — как рябь да струя...
Где по ленте с единственной плоскостью
Всё скользит — недвижима — ладья.

И такое тут слово напишется,
Что облупится перышка ость:
Там, внутри, у бесснедного пиршества,
Есть не званный, но избранный гость.

Он сырой раскоряченной карлою
У стола дорогого воссел;
Ни стыдом не удержан, ни карою,
Красной утварью загремел;
Да как схапает брашно заветное!
Он слепец, попрошайка и вор.
И вино заповедное, светлое
Так и плещет из звездных амфор!

Ну и как его, скучного, вынести?!
У хозяина мрак по лицу...
Эк бы взять, да и вон его вывести...
... Да куда ж ему деться, слепцу?

И хозяин глядит не навидится.
И молчание тягостней тьмы...
Ну когда же он, наглый, насытится
И потянет псалтирь из сумы?

1985

ОДЕССА

У свисших куп — ни степени, ни веса...
Лишь свертки тополей на голове...
Куда же ты захала, Одесса,
На зелени, на семочках, мове?..

Не чувствую ни грека, ни еврея,
Лишь полный и рядяньский человек....
(В дрожащих пальцах музыка, хирея,
Касается смежающихся век.)

Я шёл пустым путем сквозь дни пустые
От города в зерцающих тисках...
(Рекой не двинув, сжались России
С Москвою бессердечной на руках) —

И вижу я, как можно — как с одежей —
Чужую жизнь с чужих плечей согнать,
Как можно жить в отчизне, как в прихожей,
Как имени ее не вспоминать.

1983

ЛЕНИНГРАД

Какая-то убыль почти ежедневна —
Как будто рассеянный свет,
Как будто иссохла, изжётчилась пневма,
Как будто бы полог изветх;

Как будто со всякой секундой грубее
Обрюзгшая плоть у реки,
И даже коротких лучей скарабеи
На ней и тусклы, и редки;

Как будто всё меньше колонн в колоннадах
Когда-то любимых домов,
И всё тяжелей переносится на дух
Кровавых заводов дымок; —

Как будто кончается сроками ссуда
И вскорости время суда;
КАК БУДТО БЫ КТО-ТО ОТХОДИТ ОТСЮДА
И НЕКТО ЗАХОДИТ СЮДА,

1990

ИСПЫТАТЕЛЬ РУССКИХ РЕК

Сколь ни пил я из русских рек,
Но воды я не разу не пил:
Скользкий воздух земных прорех...
Тонко-пресный прогарный пепел...
Кроволитье железных жил,
Жил, которым и вскрыться негде...
И двоящийся звездный жир,
Что на невской распущен нефти...

Равнодушно я брал рукой
Закоснелое семя Волги...
А в московской коре глухой
Волны ветошки были волглы...
Я свое узнавал лицо
В амальгамной бегучей персти...
Знал Реки Окружной кольцо
Как заросшее мглой отверстие. —

Океан ведь не Самбатьон,
Ну а я — не днепровская птица:
Не молением, так битьем
Он понудится расступиться.
Это скоро (хотя не спех),
Ведь взошел я по всем теченьям,
Русских рек я коснулся всех
За единственным исключеньем. —

Да, лишь только одной из них
Мне покуда нельзя касаться,
Потому что чужой двойник
Может в зеркале оказаться,
Потому что когда-нибудь,
На истёке последней дневки,
Мне придется еще хлебнуть
Черной водки из черной Невки.

1990

THREE TIMES THE SAME

Меркнет облик щедешной жизни. —
Вмиг кончается, как ни начнись,
Златогрудыми в зрительной линзе
Волосками парчовых ночниц.

Чуть помыслишь в пере изготовить
Насекомого шороха рой —
Вмиг спирально вкружается овидь —
Запятой в темно-радужный слой.

Не успевший довоплотиться,
Треугольником ртутных лучей
Мир вонзается — мертвая птица —
В роговых воротцах очей.

1989

АБОРИГЕН И ПРЕКРАСНАЯ ТУАЛЕТЧИЦА

Выбранные места из либретто. Соч. А.ИЛЬЯНЕНА

Я сказал майору: вы из службы сделали балаган! Этот балаган стоит в тундре. Весной над разноцветным куполом юрты-балагана пролетают с курлыканием журавли, а летом вокруг балагана цветут желтые пушистые цветочки. Они, болотные эти цветочки, радуют взор девушки-делопроизводителя, когда та отводит осторожно полог, щурясь от весеннего солнца.

Майор, быв.сибирский офицер, одет как мальчик в старые времена: в матроску, короткие штанишки, гольфы. Он катается на деревянной лошадке. Когда карусель, что стоит посредине кабинета, останавливается, девушка-делопроизводитель ставит на патефон новую пластинку. Что за музыка? не понять...

Карусель вновь медленно начинает крутиться, наш дитя-майор весело смеется. Его жена, вольнонаемная СА, приносит завернутые в салфетку бутерброды. Он съедает их не слезая с лошадки. Девушка-делопроизводитель подает ему чай и возвращается к столу, чтобы поменять пластинку.

Магнитофона уже нет — его унес капитан к Лизе. А бывало он скрашивал длинные зимние дни нашей службы в этом балагане.

Дверь осторожно открывается: входит наш начальник. Новый подполковник, ещё осторожный, не знающий как толком себя вести со всеми. Улыбается. На ложноприветливом фейсе щегольские усики. Не упадите, говорит инфантильному майору. Тот в ответ глупо улыбается.

Французы на своем сленге называют патронов обезьянами. Я вспоминаю об этом и улыбаюсь. Девушки-делопроизводители тоже почему-то вдруг улыбаются.

А карусельная музыка все играет. На нашей службе тепло, а за стенами мороз. Тепло и весело. Вот девушка-делопроизводитель надела кроличью шубку и вышла из кабинета, чтобы купить майору мороженого, которое продается студентами в лотках, рядом со службой.

У меня уже от кружащейся карусели идёт кругом голова. Выдую предлог и уйду... Да: пойду проведать Алену Василькову, которая работает на Фонтанке, в библиотеке.

Алена — моя конфидентка. Она такая же как я аборигенка. Василькова — это придуманная фамилия. На самом деле, она Руйскауннки Алина. Какая разница, ей богу: руйскауннки это тоже василек. Мы с ней потомки племени саввакотов, которые пришли по преданию с Се-

Печатается с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

вера, из так называемой коренной Финляндии ок. шестнадцатого века. Вместе с эвремейстами. Это другое племя.

Говорим мы, разумеется по-русски, потому что аборигенского языка своего не знаем. Я-то малейшее понятие имею, а она никакого. Не в этом дело.

Я ей жалуюсь как турок на службу: тяготы и лишения. На начальников. Он сидит у огромного окна, в кресле, с шалью на плечах. Живописная!

Я ей жалуюсь на трудную толмаческую и офицерскую судьбу. На бывшую фехтовально-гимнастическую школу им.Ленина, где служу. Сколько соблазнов: юных тел! В бассейне напр. Или: в душе моются совсем голые. Или летом бегают по стадиону.

Алена меня понимает. Улыбается.

Я спрашиваю ее о Полине Маковой, нашей общей знакомой, она тоже ходит к мэтру в его сенакль. Собирается писать повесть. Интересуюсь у Алены судьбой девушки-поэта, которую сослали в Новгород. Как она там бедняжка?

Давно нет никаких известий от нее.

А что, Алена, почитай мне стихи! Алена достает из стола листки и читает. Потом мы пьем чай и идем навестить старуху-аборигенку, Аленину родственницу живущую неподалеку на Фонтанке, в доме с арками и фонарями.

Старая чухонка говорит: все равно война будет. Без злорадства, без веселости эсхатологической, а как будто со знанием дела, будто бы пророчествуя: все равно война будет! Пряди седые спадают на лоб.

Она не боится страданий: кажется все выстрадано. А с невозмутимостью ждет катаклизма как инки или ацтеки. Родственников почти не осталось: погублены, вымерли. Окружают старуху соседи-конквистадоры, грозят крестить огнем и мечом, рушат ее древние устои, искореняют ее уклады. Грозят разрушить страшных и любимых идолов с губами в крови...

Херраюмала, вздыхает старуха.

Комната завалена коробками, бутылками, свертками: припасами на случай войны.

Я не святой Себастьян! Если б мне принадлежало такое красивое тело, то давно бы уже стал мучеником. Давно бы уже в меня стреляли! Или истязали изощренным способом, как водится.

Но, слава Богу, меня не привязывают к столу и мое тело не пронзают стрелы!

Меня не бросают в ров с львами.

У меня своя участь. Я не избегаю другого: без палача и плахи поэту на земле не быть.

Рассуждаю, возвращаясь из музея, где на Венецианской выставке видел удивительно красивых мучениц и мучеников. Нет у меня мазохи-

стских настроений: вот бы и меня так! Наоборот, бродя от картины к картине, с трепетом думал: да минует меня чаша сия! Додумался до спасительного: Господни страстотерпцы были прекрасны собой, а я...

Вот и ворота моего военно-воспитательного заведения.

Вхожу с кротким ликом. Само смирение. Весь во власти настроения, полученного на выставке. Майор с недоумением смотрит на меня смиренного. Они привыкли видеть во мне тореадора. Эти глупые и сильные животные: огромные и кажущиеся неуклюжими тела, с гладкой и приятной для касания рукой кожей... Они совсем не свирепые, если их кормить и не дразнить. Но если им досаждать: я вижу рядом с собой налитые кровью крупные глаза. Можно подумать, что раздражать их доставляет мне удовольствие, носиться по арене службы с красной тряпкой, размахивая перед мордами, уклоняться от ударов...

И Алена видит во мне бесстрашную и гибкую фигурку с серебряными позументами: зеленая лужайка, орудие трибуны и я раскланиваюсь держа красный лоскут в руке. Служители уносят с арены тушу быка. Нет, нет я против таких кровавых развлечений. Я не тореадор!

Может быть я играю роль красного лоскута.

Раскрываю книгу и погружаюсь в чтение: Маркиз де Кюстин “Письма из России”.

Я себя воображаю (сочиняю, придумываю) пустынным.

Или странником. Живу я в бочке.

Это так понятно: как философ. До обидного просто.

Но это так удобно! Я видел однажды в архитектурном журнале эскиз загородного дома (коттеджа) сделанного в виде бочки.

Потом: во мне живет бестиарий. Это тоже как и бочка не мое изобретение. Это я читал недавно Аполлинера и нашел у него известный цикл “Бестиарий”. Там и лошадь, и Павел, и рыба и обезьяна... Это мне показалось очень забавным!

Я когда-то начинал писать роман под названием “Записки сумасшедшей лошади”. Меня вдохновила известная фраза Пушкина о переводчиках: мои лошади просвещенья! Ха-ха.

Я стал сочинять про переводчика-офицера, который сделался безумным, потому что стал писать стихи...

Ещё я воображал свою бочку в виде башни. Разумеется Флобера! Я собираю самые общие места, уже более “обще” некуда. Это и есть мое современное искусство: поп-арт. Да массовое искусство, в традициях американца пятидесятых годов с банками из-под пива. Что ж, как говорит мэтр, неплохо...

Я стесняюсь читать про бочку, т.е. башню, про обезьянку, лошадь, попугая — это все я! про Орфея, это тоже я...

Попугай — потому что это мое ремесло — повторять. Обезьяна: от моей страсти к театру. Лошадь — это переводчик.

Я сочиняю без дальних умыслов, по пушкински. Можно сказать: для себя.

Когда я учился в Лефортовской слободе, на Яузе, недалеко от лижёрки то любил такое место уединения как лазарет. Там я предавался моим мечтам, кое-что уже записывал и даже сочинял стихи. Это были послания, в виде од и элегий. Одно из стихотворений было написано по случаю посещения меня моим другом Базилием, натурой тонкой и одухотворенной, ему же было посвящено другое стихотворение “Воспоминание о поездке в Переделкино”.

Тогда же я стал писать Мемуары на французском языке.

А если гибель предстоит?

— Да вы наверное всё на облаке летаете.

А я смотрю в окно, где льет дождь. Вчера я не слышал ничего, а теперь слышу как идет за окном дождь. Откуда-то издалека: из-за облаков что ли до меня этот вопрос долетел. А я стою в кабинете, он сидит в том же кабинете на маленьком мягком диване в крайне неудобной позе. Он из себя весь такой военный: осанка, взгляд. Сидит вполоборота, повернувшись в мою сторону и облокотясь на узкий полированный подлокотник дивана: щегольские усики на фэйсе моего нового начальника. (Прежний начальник погорел на любви: завел роман с одной молодой дамой службы, вольнонаемной привлекательной особой. Нет повести печальнее на свете! Моего начальника — первого! — потихоньку удалили из теплого кабинета. Адьо, адьо. Вы знаете как это происходит: “наутро вызывают меня в политотдел....” ет сетера!*) Он сам того не подозревая, задал вопрос по существу. Испытующе смотрит на меня, думает, что с карманным фонариком можно в потемках моей души все рассматривать, все там высвечивать! Вопрос остается без ответа. Фонарь держу за спиной. Посмеиваюсь: вижу обезьяну, которая высунула голову из бочки, повисшей в пасмурном небе, и гримасничает, изображая моего нового начальника. Я не слышу, что отвечаю смешному начальнику. Он меня не видит; передо мной начальственная птица, которую всю разнесло от важности, от собственной мнимой значительности. Он наверное думает, что я от смущения пытаюсь отвести глаза от места, где он сидит. Нелепо разговаривать с индюком (или павлином) который вообразил себя военным чиновником!

Орфей что-то поет, а конь бьет в нетерпении копытом.

Делаю учтивое лицо, придаю ему особенно верноподданическое выражение чтобы понравиться индюку (в чине подполковника!). Это забавляет обезьяну, она дергает певца и показывает на меня пальцем. Среди

* Слова из курсантской песни: помню только один куплет:
наутро вызывают меня в политотдел:
— что же ты собака вместе с танком не сгорел?
я вам обещаю, я вам говорю —
в следующей атаке обязательно сгорю

шума дождя раздается ржание лошади. Меня с миром отпускают. Обо мне составлено поверхностное очень нелестное впечатление. Этим я обязан майору, который присутствовал при сцене знакомства.

Тайно сердце просит гибели

Обезьяна наша милая веселая простудилась, а еще вчера она так на снегу кувыркалась. Сибирское царство!

Орфей повесил лиру на крюк, там где висел фонарь. Я ушел на службу, освещая себе дорогу этим фонарем.

Крылатого коня не запрячь в телегу — мешают крылья, он лежит в бочке и жует овес или сено. А военный чиновник с фонарем садится в трамвай и едет на службу.

Капитан вернулся из столицы, где он был по своим делам. Я не стану расспрашивать, что он там делал, с кем встречался: это не в моих правилах. Если захочет сам расскажет. Он это сделает, я уверен в этом, сегодня вечером, когда мы соберемся у мужа балерины. А пока мы сидим здесь в кабинете и каждый делает вид, что занят делом. Майор что-то хандрит: он надел шаманский костюм, но вместо того, чтобы выскочить на середину кабинета и закричать хриплым голосом и совершить ритуальное действие, он ел на стул в угол кабинета, за шкаф и опустив голову, в меховой шавке и с бубном в руке горько плачет. До меня доносятся всхлипывания майора, шепот... Капитан подошел к нему и что-то говорит, наверное, утешает: немногословно, по-мужски... Девушка-делопроизводитель очень расстроена, с ней может случиться нервный кризис. Надо ее утешить! Я встаю из-за стола и направляюсь к ней, увожу ее в дальний угол кабинета, говорю несколько слов тихо-тихо: она начинает беззвучно плакать... До нас доносятся рыдания майора... Он плачет все тише, видно капитан нашел утешительные слова! Девушка смотрит за окно. Я чувствую, что мое присутствие и успокаивает и вместе с тем сильно волнует ее. Даю воды и начинаю рассказывать про гейш, зная, что мои рассказы про гейш в свое время действовали на нее, уводили от действительности. Я сам пытаюсь представить ей гейшу за утренним туалетом, передать все движения: плавные, изящные, неторопливые... Вот она подходит к низкому столику с зеркалом, садится перед ним, берет баночку с рисовой пудрой, кисточку. Описываю подробно все, что находится на столике перед зеркалом. Рассказываю о том, какие мысли ей приходят при совершении утреннего туалета, что она видит за окном: снег и девушек под разноцветными зонтами на бамбуковых палочках... Наша юная гейша вспоминает о визите молодого врача из Киото (это ее возлюбленный), она сидит перед зеркалом с распущенными волосами, сладкая улыбка застыла на белом лице, а золотая шпилька, подаренная ей молодым врачом, упала на пол...

Как страшно!

Кругом сугробы тяжелые, громоздятся белые, а луна на небе желтая. На службе плачет майор, который уже день. Бедный военный чиновник сидит на стуле у окна, там где стоят цветы кабинетные, их поливает обычно девушка-делопроизводитель... Кстати она и сейчас стоит с кувшином, собираясь поливать их, но плачущий майор мешает ей подойти к окну. Она не просит его ласково: мол, подвиньтесь, или пересядьте, пожалуйста... Она наклоняется к подоконнику, выгибая шею, ножку при этом поставив на носок: как бы не замочить майора... С кувшином наклонилась к цветочкам полуувядшим и поливает их.

Майор, который уже день придя на службу плачет, не сняв шинели, лишь шапку тяжелую устало положив на стол. Я вижу, что и участливая девушка страдает, переживает вместе с ним. Но майор не из таких, чтобы вызвать сочувствие исповедаями, он ни слова не проронит, а будет вот так сидеть у окна и плакать тихо, лить свои горькие слезы. Мне, по правде говоря, не испытывающему особых чувств к этому военному чиновнику, тоже становится не по себе. Вид плачущего уже вызывает у человека способного страдать и плакать отклик в душе. Еще несколько дней назад он лихо тряс бубном и шептал страшные заклинания. Наверное его навелили из тьмы злые духи, они мстят и терзают майора. Девушка-делопроизводитель полила цветы, неслышным шагом подошла к майору, погладила его по голове и тотчас же удалилась к своей машинке. Ему же от этих знаков сострадания еще стало горше: он всей своей тяжестью оперся на подоконник, голову тяжелую обхватил руками и затрясся...

Я не мог больше оставаться в кабинете и дожидаться пока с майором случится страшная и дикая истерика. Надев шинель я быстро вышел в коридор. В ярко освещенном коридоре толпились люди и мне не удалось выйти со службы незамеченным. Пришлось сказать себя нездоровым, и не выслушав даже мнение старшего военного чиновника побежал вниз по лестнице, как будто с чердака, а не из подвала.

Пока я ехал на трамвае, к вокзалу, в надежде встретить в буфете Алёну, я думал о судьбе майора, в недавнем прошлом черствого, глуповатого военного чиновника, о непонятных и таинственных превращениях: о шаманстве, слезном даре, так повергшем меня в изумление.

Жалуюсь Алёне на то, что бездарно трачу время в служебном кабинете. Как Акакий Акакиевич военный, или Поприщин! У Акакия Акакиевича, по крайней мере, мечта была: шинель! У меня же и мечты нет: есть шинель!

И совсем не дорожу ей: напади на меня грабители на канале, новую получу на складе...

Я по природе игрок, в театральном смысле исключительно. И родился я в квартале Достоевского. Помню, идем с бабушкой на Кузнец-

ный рынок, там морошку продают, цветами торгуют. Шесть копеек тюльпан... К чему вся эта лирика, эти воспоминания...

Живу от среды до среды: по средам мэтр собирает свой сенакль. Скоро я буду читать из нового своего романа. Нового романа... Можно подумать, что у меня написано множество. Нет, в тетради записи так называю... Мне кажется, что то чем я занимаюсь — т.е. сочинительство, это безумие... Завидую даже тем, кто не пишет, а просто служит. Как наш веселый капитан. Я же: лишился веселья... Только что чести моей не хватало еще потерять. И все-таки: от среды до среды живу. Там, в сенакле у метра как оазис среди пустыни будней. Среди пустыни службы моя тетрадь — колодец.

Какой сентиментализм однако!

Мне не стадно исповедываться перед Аленой: я ей многое из тетради читаю.

Сейчас занят сочинением “романа”.

Вот что я прочитал Алене:

Они давно меня томили (роман)

Д.К.

Они давно меня томили

Мою шею оплели белые водяные лилии на длинных темно-зеленых стеблях. Я только что выплыл из омута и сушил свою мокрую одежду сидя на парапете у подземного перехода на Невском проспекте.

Я сушил свои ризы, а вокруг меня и мимо ходил бомонд и глумился надо мной.

Некоторое время до всплытия, когда я сидел на дне омута, а моя пустая бочка подобно громоздкому дирижаблю висела в июльском нее, мой безумный друг стал превращаться в птицу произнося магическое слово “вуд”: кругом были цветы, а он в это время шел по темной алее.

Проходившая по той же алее собака приветствовала чудесную метаморфозу отрывистым лаем.

До этого мой безумный друг поведал мне Историю о прекрасной туалетчице. Ее звали Лиза, ей было неполных шестнадцать лет, она жила и работала при общественном туалете у Литераторских мостков. Она разбила несколько клумб, где росли изумительной красоты цветы, а в окнах туалета круглый год цвели розы и тюльпаны в горшках. Больше я ничего не помню из этой удивительной истории. Но впечатление от услышанного было настолько сильным, что мой безумный друг, проходя мимо Катькиного сада, вечером, когда уже были сложены огромные зонты, спросил меня: что с тобой?

В тот вечер — я не помню он был или не был — девушка в

голубой куртке, охваченная безумием, но скрывавшая это, шла рядом с юношей, который ничего не замечал. На крыше дома на той стороне улицы мы прочли: Отель д'Эроп. Есть от чего помрачиться разумом.

Д.К.

Где мой милый я мог простудиться?

Не в нашем же театральном болоте, где все от кривых берез, до кочек и мягкого мха — все бутафория. Даже лица их сделаны, признаюсь тебе, из папье-маше! Но что страшно и удивительно — быть живым, вернее чувствовать в себе голос крови, видеть и понимать, ну хотя бы догадываться о происходящем и быть занятым в спектакле! В действительности сем постыдным участвовать более не желаю! Это крик души гложет, не вылетев даже из меня, застывает в горле или даже, не родившись в мысли, умертвляется другой мыслью, летящей блестящим копьем — и кровь льется и вот она умирает... Эмбрион слова, убиенный, вываливается в сверкающий эмалированный таз, где кровавые марли. Так я безмолствую. Хотя я всё не о том. Хочу просить тебя об одном одолжении, думаю, что это не очень тебя обременит. В одно из воскресений намерен пригласить тебя для позирования! Да-да, не удивляйся, а исполни волю болящего. Краски я купил уже. Краски дешевые, акварельные, те что дети используют на уроках рисования. Недалеко от службы, напротив церкви малинового цвета есть маленький канцелярский магазин. Впрочем, разве это важно! Я страдаю — болею — наверное простыл... Ноги все время мокрые... Добился освобождения на три дня! Я знаю, что ты скоро уезжаешь, пусть ненадолго, но все же... Кто знает! Бывает и так, что уезжают на три дня... Подумать страшно! Короче, я решил: пусть напоминанием обо мне останется мой портрет. Так сказать портрет художника в молодые годы. Вижу себя сидящим на маленьком балкончике, вдали Невы. Справа и слева минареты труб. Почему-то на память приходит известный портрет (видел в музее) чахоточной женщины, которую привезли умирать на юг. Помнишь, на белом мраморном балконе, в кресле сидит она, там — море, пальмы, глицинии ет сетера. У меня есть кактус, который обещает цвести маленькими веселыми цветками. Его то мы и поставим вместо пальм, кустов роз и глициний, чтобы оживлял хмурое небо и разнообразил безрадостную флору Севера. С задумчивым лицом ты изобразишь меня... Думаю о замысле нового романа. О Прекрасной туалетнице, например, или о Девушке-дворнике, об их прекрасной судьбе, нелегкой, но прекрасной. Не век же им горе мыкать, несмотря на красоту души, грезы, даже может быть благодаря им они сумеют найти дорогу к счастью. Я им помогу. Жду тебя, мой милый, а пока пребывай в добром здравии!

Молчите проклятые струны.

Плетусь в свой офис с тяжелой головой: не выспался совсем. Целую ночь Орфей брэнчал на лире, хотя я просил его повесить лиру на стену, туда где гвоздь торчит. Мольбы мои до певца не дошли... Иду и спотыкаюсь, так спать хочется. В кабинете может выплюсь на стульях, когда все уйдут на обед. Нет ничего не выйдет: майор достает из портфеля сверток с колбасой, горчицей и хлебом. Нагреет себе чаю, чтобы в столовую не ходить — какой сноб, посмотрите! А я пойду в столовую Военторга, где выстроятся офицеры с вольнонаемными. Майор делает плаксивое лицо, наглый, бессовестный майор — будет просить о чем-нибудь, хотя знает наперед, что все его просьбы и поручения выполняются мной крайне небрежно, не в срок, если вообще выполняются. Он начинает объяснять мне какие задания получили девушки-делопроизводители, сколько скопилось разных дел, показывает рукой на стол, где в беспорядке разбросаны бумаги. Я даже не слушаю его обвинений, пытаюсь заговорить с одной из девушек. — О чем разговор, сейчас выезжаю, бросаю майору, чтобы отстал от меня. Беру бумагу, прячу ее в портфель, сажусь за свой стол и продолжаю читать роман. Но вместо того, чтобы следить за интригой, начинаю думать о судьбе Казанского царства, о его бесславном декаденсе. Думаю даже написать роман, действие которого будет происходить в период расцвета Золотой Орды. Но эти казанские люди имеют также мало общего с теми славными золотоордынцами как современные греки с их далекими предками. Меня окружают казанские люди, пытаются взять с меня ясак. Не те времена, слава Богу. Голос майора: ты еще здесь? — Вы что не видите: я всегда здесь. Иду, иду, какой вы право нетерпеливый! Он утверждает, что его дед — коренной сибиряк. Я делаю предположение, что его предки пришли в Сибирь с Ермаком. История Сибирского царства тоже чрезвычайно интересует меня. Но я не буду задавать ему вопросов, лучше пойду в библиотеку, там выплюсь до обеда.

Я здесь одна, меня никто не понимает

Девушка-Шаляпин сидела у меня на кухне и обличала тихими словами, но гневными очами казанских людей, среди которых она делает вид что живет. Эта девушка-дворник давно вызывает во мне сочувствие, понимание артистической натуры. Близится зима, что девушку-дворника повергает в такое уныние, что и мне хочется уехать вместе с ней в теплые страны, где нет ни снега, этих огромных белых монстров ростом с человека, ни лопат, ни железных ломов. Мне знакома эта неприязнь к снегу с казарменных времен, но теперь — другая жизнь: Казармы больше не существует, она утонула, как Атлантида — канула в вечность — в лету! А если это продолжает интересовать меня, то как художника... Мне дорога правда, даже дороже зимы с ворсистыми сугробами! Девушка-Шаляпин хочет петь, а не дают ей петь! Квартиры то нет

своей, живет в казенной комнатухе. Как похожи их судьбы, думаю я, и как не похожи они между собой: Лиза, Прекрасная туалетчица и эта девушка-дворник. Позже они подружатся и станут как две сестры. Может быть я напишу роман “Две сестры”, где расскажу историю их дружбы. Конечно это будет ученическое подражание М.Прусту (даже само желание назвать мой сверхроман, куда должен влиться и этот маленький роман о девушках, “Содом и Гоморра”, разве это не плагиат?!). Но этот роман о двух полусиротках будет дорог мне, ибо продиктован вдохновением...

Вы только посмотрите как держит она чашечку: двумя тоненькими тоненькими пальчиками. Да и сама чашечка приобретает цену словно она редкой работы фарфоровая чашечка. Девушка-Шаляпин подносит чашку к маленьким губкам и маленькими глотками пьет кофе со сливками. Она похожа на фарфоровую фигурку. Передо мной блестящая фарфоровая птичка с женской головкой. Птичка божья из фарфора! Вот ее история: ей захотелось учиться, она стала даже поступать в институт, но туда ее не приняли, объяснив что девушек-дворников туда не берут. Рядом она с Волги, голос у нее удивительный, когда поет сама чуть не плачет, с влажными глазами, романсы или народные песни, особенно если стопочку выпьет. Ее бы не взяли в артель баржи по Волге тянуть: маленькая она, хрупкая... Куда ей с мужиками матерыми, здоровыми в одной упряжке! Приехала она на Неву, думала здесь бурлацкой работы нет! О сцене мечтала, в звезду свою верила! А что получила: мусорные бачки, да железный лом, да лопата... Бабы у них дворники, здоровые что те мужики: матом ругаются, бачки переворачивают, смеются.

Таким сильным было ее огорчение, что она позвонила мне. Как я мог утешить ее? В растерянности предложил ей выти замуж за кого-нибудь. — Но за кого, за кого? горько повторяла она, аккуратно поставив чашечку на блюдце, даже не слышно было как зазвенело блюдце от прикосновения чашечки. — Ну найди кого-нибудь! воскликнул я, понимая бесполезность совета, хотя мне и казалось, что замужество — единственно верный путь для того, чтобы избежать зимы.

В Тавриде в прудах плавают красные рыбки с золотыми плавниками, цветут белые лилии и поют лягушки. Что, скажите, может быть удивительнее и прекраснее пения лягушек?! Причем сами лягушки не видны, слышны лишь их звонкие голоса. Я бы сравнил их пение не с трескотней мелодичной, а с трелями соловья. Так шествуя по аллее, ведущей к морю, среди дерев инжира, граната, ветви которых были отягощены плодами, среди рощиц олив — серебристые листочки чуть-чуть дрожали, нежной такой дрожью, а не нервной — я слушал пение лягушек!

И вот я вернулся в свое родное болото: здесь у нас чахлые березы и облеслые ели, здесь торчат камыши и шелестят, лягушки наши не поют, а только квакают. И сам я уподобляюсь кулику, и в приступе квасного патриотизма буду петь хвалебные песни моему болоту — но что скажи-

те мне за голос у кулика? Темно в нашем кабинете, он похож на болото: чавкают сапоги ходящих-служащих, постоянно кто-то приходит по делу или просто так. В углу кабинета растут кривые березы и трясутся осины, а за окнами наверное дождь идет... Трамвай — дзинь-дзинь... Вчера окна были у самого потолка, дотянуться до них я не мог, лишь луч дня падал сверху, сегодня утром окна низко до смешного, почти на уровне земли. Те, с которыми сижу я в кабинете одеты в зеленое, но не в зеленое изумрудного или бутылочного или морского цвета — в защитного цвета! А взгляды их тусклы, а ходят они мягко ступая, как бы по моху, по кочкам. Мне постоянно слышится хлюп-хлюп. Удивительно, что сверху ничего не льется: я в болоте, вместе с ним, но сухо! Все равно мне не по себе: пусть даже я не мокрый. Я ежусь, ерзаю на стуле, кладу ногу на ногу, руками обнимаю грудь, сижу, задумавшись, авось страх пройдет, холод отпустит — страх и холод от осени, от службы на болоте! Не могу полюбить эту вечность болот! А если я буду спрашивать их, каково им, ну хотя бы девушку-делопроизводителя, ту, что перебирает какие-то бумаги рядом. Если попрошу ее объяснить... Не стану этого делать, лучше замерзну от страха и удивления! Чтобы не выдать моего состояния отвернусь к стене и открою книгу: да ведь она уже с утра открыта. А дева русская Гарольда презирает!

Пишу, рисую свои композиции как Кандинский или Малевич? В порыве экстаза, приступа радости, безумия пишу. Писать — старое слово. Как Малевич малюю свои картины. Как безумный Врубель! Сначала долго брожу и слушаю музыку, смешиваю краски. Эти лица, где сухо, где не цветут в порыве безумия дикие улыбки, смех у них жалкий и ядовитый как белена: взгляды их — темно-зеленые. Мне бы как древнему японцу: быстро-быстро тушью по листу! Мои бунты смешны, абсурдно мое ежедневное хождение на службу. Но эта серая подкладка не заметна, потому что она подкладка — шелковая, телу приятная. Музыка, которая раздается откуда-то из меня, из моих глубин, а может у меня вместо сердца орган? Не знаю, вскрытие покажет. Она говорит, что ей не скучно и хорошо со мной: я недоумеваю. Ведь ее не забавляю? Значит у нее тонкий очень слух и она слушает мою музыку.

Я безусловно одарен. От природы, от рождения щедро одарен ленью. Лень мой главный талант, моя единственная добродетель. Напишу похвальное слово лени: ведь она сестра безумия! Я счастлив, потому что с детства не был приучен ни к какому занятию. С детства понял я, что праздность мой удел. Когда маленького мальчика в панаме спрашивали: Сашенька, кем ты будешь? — Дворником! Дворник представлялся мне самой богемной, самой праздной фигурой в микромире Толстовского дома, в пространстве детства — парадизе — между Фонтанкой и ул. Рубинштейна.

Я никому не делал зла, т.е. добра, потому что добро-зло это единственная категория нравственности, две стороны одной медали: отсюда един-

ство и неизбежное противоречие. С молодых ногтей я усвоил эту диалектику. Догегелевским, домарксовым сознанием аборигена с острова между Фонтанкой и ул. Рубинштейна. Местечковым своим умом.

Вместо сердца орган: красный с золотыми трубами и блестящими белыми клавишами.

Вот что утешило меня чрезвычайно, в дни тоски и отчаяния прочел у Чехова (письмо из Венеции): праздность — необходимое условие для счастья.

Можно конечно понять моего начальника и компанию: само моё присутствие раздражает и выводит из себя. Вы видели изображения танцующего Шивы? Тонкая талия, крепкие бедра, блаженная улыбка на устах. Целый день я танцую, а когда надоедает, сажусь за стол в позе лотоса, закрыв глаза. Иногда майор просит пересечь меня в угол. Я покорно выполняю его просьбу.

В парке Чаир цветут еще розы (из крымских воспоминаний, осень)

Случилась перемена в погоде, стало не спокойно на море.

Объявили о том, что купаться запрещено: из-за волнения на море. Из-за шторма! Меня проклянут мои начальники за непослушание, ими же самими придуманную строптивость, нежелание подчиняться т.н. уставным требованиям. Совсем я не таков! Если запретили купаться: не полезу в море, близко не подойду. Пойду лучше вдоль моря по царской тропе. Подойдя к беседке остановлюсь, буду смотреть как море блестит и скалы серые из воды торчат. Который уже день из головы не выходит сюжет моего романа о Прекрасной туалетчице. Что там нового на Литературных мостках? Плыву ли я на прогулочном катере у берегов Тавриды, а мысли мои далеко — у Литераторских мостков! Мне страшно за Лизу: это чистое невинное существо. Что день грядущий ей готовит?

Вот она стоит — нежная Лиза, волосы аккуратно уложены под платком, с ведром: воду наливает. Лицо у нее задумчивое, все в одну точку смотрит не мигая, а вода льется из блестящего латунного крана, вода все бежит. Заходит старушка полугорбатая в сером пальто и в болотах, она в церкви неподалеку уборщицей работает. — Что ж ты милая воду наземь льешь, ноги замочишь. Кран сама закрывает и берет у девушки ведро. Лиза со слезами благодарит добрую старушку и идет за ней на улицу. Не клумба, а загляденье: ухоженная заботливыми Лизиними руками, цветет на радость всем! Не только посетителям общественного туалета, завсегдатаям а и тем кто прогуливается мимо, к кладбищу идет или просто так. Лизу любят и всячески оберегают девушки, которые собираются днем в туалете и предлагают помаду губную, чулочки и всякую другую галантерею. Есть и такие, что приносят Лизе гостинцы: кто сигареток... Лиза спрашивается за чем Лизе сигаретки если она не курит. Она все равно отдает их посетителям мужской половины или старушке-расклейщице объявлений и газет. Всякие другие незначительные подарки при-

носят девушки Лизе. Один раз кто-то шляпку с вуалькой подарил. О посетителях мужского отделения отдельный разговор: для них Лиза как сестра родная. Всякий оказывает Лизе политес. Что и говорить общество собирается отменное. Не надо только думать, что все сюда случайно заходит: по нужде, как старушки не скажут, напротив для большинства это место ран-де-ву!\

Спите заморские гости усните

Окно занавешено чистой белой занавеской, на ней вышиты толстые синие коты с розовыми бантами, окно то как всегда у потолка. Под подушкой моей роман “Рок-н-ролл”, написанный Крошкой Ру, я его давно читаю, очень уж он мне нравится. А под кроватью — жёсткой с железными набалдашниками — несколько книг лежит, а какие не разобрать: совсем еще темно. Я только руку вниз опускаю и глажу корешки книжечек моих, пытаюсь наощупь их узнать: здесь и Рембо, многотомный словарь французского языка Робер, и переписка Ивана IV Грозного с князем Курбским, “Житие протопыта Авакума, им самим сочиненное”, все разложено на газете под кроватью. А на табуретке рядом: начатая мной рукопись научной работы “Еще раз о гебраизмах в сленге системы”. Мой сосед спит на широкой скамейке у стены, ему не жестко, ему шинель подстелили. Он тоже болеет, его и меня приютила на время болезни Лиза. Мы лежим в ее комнатке при общественном туалете у Литераторских мостков. У меня острый ринит (насморк как говорят простые люди) на нервной почве, а у него эйдис: один визитер сказал, что это звучит как эдельвейс. Он сам себе диагноз поставил. Лиза спит у окна на теплой и мягкой телогрейке: это я принес ее, мне как чиновнику военного ведомства положено казенное белье (портяночки, нижнее белье, теплое и холодное, носки и ватничек-телогрейка). Лиза спит в теплом белье, я так посоветовал, чтобы не простудилась. Лизины грезы. Спит и кот ученый на рожке.

У Литераторских Мостков

Самой первой приходит в нашу богадельню, келью, странноприимный дом одна знакомая старушка — расклейщица газет. Она приносит с собой утреннюю прохладу, на дворе первые заморозки. Она греет красные большие руки у батареи, поставив табуретку к самому окну, Лизины ноженьки между ножками высунулись, спит сердешная. А старушка уже чай греет на примусе в закутке. Подходит ко мне, садится на край кровати, грузная, но не больная, большая старуха, рассказывает мне про племянницу, затем идет пить чай с бубликами, попив чаю снова садится ко мне на кровать, спрашивает о соседе: я даже имени его не знаю, про Лизу, про старуху-банщицу и перекрестившись, направляется к

двери, где ее ждет железная банка с клеем и брезентовая сумка с газетами.

Закрывает за собой дверь и уже с кем-то разговаривает, на женской половине, ведь у нас две двери: одна ведет на женскую половину, другая на мужскую. По голосу узнаю старушку-уборщицу из церкви. Говорит, что в церкви много народу вечером будет, Дмитриевская родительская суббота, о чем шепчутся и расходятся. Одна заходит к нам в комнату, другая выходит на волю.

Солнце пробивается как подснежник весной сквозь занавеску в Лизину комнату. Юноша же проснулся и попив кофею со сливками в обществе своей неизменной компаньонки бывшей банщицы из Щербакова переулка, живущей почти безвыездно здесь, принялся читать мемуары одной американской гетеры. Она была очень похожа на мою покойную подругу Лию Ш. Также как она, та была рождена для вдохновения, звуков сладких и любви. Свой опыт жрицы любви она виртуозно доверила бумаге: в отличие от Лии! Да: Лия не успела выговориться (если не считать конечно тех исповедей, которые выслушивал я). Мало кто понимает: как можно жить в любви как в искусстве. Не продаваться за копейки, за бумажки, нет! А как танцовщицы отдаются взгляду, выражают себя всем телом...

Юноша лежал, освещенный солнцем у стены, а в темном углу сидела старушка и видела творческие сны (ей с недавних пор стало казаться, что у нее дар... Вернее, муж балерины и капитан поощряют ее заняться живописью. Для них это развлечение: видеть как старушка — как ребенок! пишет наивно и искренне свои картины. Цветы, зверей. Т.е. то, что поразило в свое время Кандинского в вологодских деревнях, где он видел разрисованные печи). Важная старушка сидела на табуретке, не замечая ни солнца, пробившегося сквозь занавеску, ни эротических картин, которыми была наполнена комната до краев...

Алена позвонила мне на службу около полудня, когда бывает брек, т.е. перерыв между занятиями. В классе остались мои туземцы, в углу скелет, на столе — на оранжевой клеенке препараты внутренних органов. С Аленой мы договорились встретиться в обычном месте: в сквере у разрушенной бани на Щербаковом.

Потом я вернулся в класс и мы продолжили с замечательным доцентом Л. лекцию о физиологии пищеварения.

У меня идут сплошные шестереки, об этом я жаловался Алене. “Шестереки” это военнопереводческий сленг, значит “переводить три лекции подряд”. У нас с капитаном джентлмен эгримент: я тарабаню шестереки, он выполняет экстралингвистические поручения. Вершки-корешки, одним словом. В этом проявилась еще раз (по их мнению) моя дурость (а может быть так и есть) — они не понимают моей любви к слову, и неприязни к ним. Разумеется лучше танцевать словами (мне видится большая связь между хореографией и переводом) чем сидеть с ними в

кабинете. Капитан же гнушается нашей черновой переводческой работы.

Он похож на арабской породы скакуна, а не на лошадь просвещения.

Добился освобождения на три дня!

Какая сладость в этом слове! В этом “освобожденьи”!

... и правда: Лермонтов был военным и понимал.

И я понимаю: “без этих трех блаженных дней”, о!

До многого доходишь со временем. Например до сочувствия одной поэтессе, к которой ранее не было сочувствия: а именно к Э.Гиппиус. Когда-то мальчиком читал: “хочу цепей!” и про себя говорил: ну не дура ли!

Теперь когда вижу нашего старого подполковника (не путать с новым начальником), который плачет ночами, считая месяцы до увольнения (до “освобождения”, если угодно)... Да и сам думаю, что будет когда меня выгонят и я стану вдруг похожим на дикого гуся: лети куда хочешь!

Нет-нет, еще послужим, говорю себе, сжавшись в серый комочек: гадкий утенок я!

Да стоит еще служить, чтобы испытывать сладость этих трех дней!

Я софийствую так сам с собой. Подтверждая справедливость формулы крымского генерала Калашника: все переводчики пьяницы или сенеки. Известно реноме этого генерала в переводческом мире: он — ...! (нецензурное слово).

Я признаюсь: люблю законченных, совершенных персонажей в жизни (о Мозэм!). Если ты — генерал Дуракин, то будь им! Напомню, что генерал Дуракин — герой одноименного романа графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Одна из любимых книжек маленьких французов.

Да, разумеется, за три дня я смогу поразмыслить о разных предметах. Вырвусь из душного кабинета, где служат бесстрашные офицеры.

Есть время привести в порядок мои Записки. “Записки” я употребляю в ироническом смысле. Я же не кавалер-девица Дурова, героиня патриотической войны двенадцатого года. По совету профессора я должен взять эти мемуары в библиотеке и выписывать лексику, потом написать статью о лексике войны двенадцатого года. Он не знает, что вместо статьи я пишу мемуары на французском языке и, когда приходит вдохновение: романы, а точнее: конспекты романов, на живом “великорусском” языке (я любитель этимологии, думаю, что “роман” это сочинение написанное на провансальском яз., в отличие от “мертвой” классической латыни).

Пусть капитан хоть три дня попереводит.

Он воображает себя каким-то арабским скакуном: посмотрите как он ходит задрвав голову кверху, все любят его! Он галантен и учтив с де-

вушками-делопроизводителями, снисходительно смотрит на офицеров службы. Да, он правильно ведет себя: офицеры службы видят с кем имеют дело! Если бы он открыто презирал их, то они еще больше проявляли к нему почтения! А так: просто держат дистанцию. Он богат, у него квартира в Москве. Он в быв. Фехтовально-гимнастической школе долго не задержится: в Африку уедет. А вы тут останетесь. И то хорошо, думают про себя в прошлом сибирские или туркестанские офицеры, и то хлеб! Все-таки в городе служим-с. Не в тундре, не в пустыне.

Мое же поведение по отношению к заурядным офицерам службы истолковывается ими не верно. Считаю их людьми, я уважаю в них “человека”. Они платят мне злобой, придирками.

Мне не хватает капитанского снобизма, а обходиться с ними так как делает он, я не умею.

Три дня, три блаженных дня!

Есть время подумать и о романе.

За эти три “блаженных” дня воспоминания и годы ученичества в Лефортовской слободе, рядом с ликёркой, на Язуе.

Вспоминается, например, такая музыка: “полька-бабочка”! Да: которую исполняет в Лефортовском парке военный оркестр под управлением майора по прозвищу “Поль Мориа”. Музыка веселая звучит на финише, когда первые курсанты пересекают линию. А мы с Базилием прибегаем последними: это у нас такое правило — “куда спешить, к чему стремиться”?

Иногда и Женя С. с нами “прибегает”.

Мы как и все делаем вид, что изнемогли от бега. Да так оно и есть: изнемогли! Дышим тяжело, подходим с остальными к зеленому военным термосам с чаем. Отдыхаем под липами.

Еще я вспоминаю лазарет. Как-то с Базилием вместе совпало нам лечиться. Лазарет это отдых от военных маразмов, от “подъемов-отбоек”, от уборки снега, от кухни и других казарменных вещей.

Как писатель (при всей нескромности и высококости титула, я все-таки являюсь таковым) родился в лазарете Лефортовской слободы. Там записал и мои первые воспоминания. Если не считать рассказа, написанного на французском языке, который вызвал похвалу полковника П., бывшего разведчика-нелегала.

Я всё отвлекаюсь: не могу сосредоточиться. Разное все припоминается. Вот Базиль вечером читает мне стихи в казарме. Разве не трогательное воспоминание?

А наша поездка в Переделкино. А поездка в Ростов Великий. А его приезд ко мне в Одессу, куда я был сослан как Пушкин вместо Африки. Базиль, приехав в отпуск из Германии в Москву, не поленился сделать крик, чтобы навестить меня в изгнании. Мы идем у ним по берегу Черного моря в сторону монастыря. Вдруг начинается дождь, мы промокаем до нитки и мокрые приходим в монастырь, на следующий день едем на

дизеле в Кишинев. У него ужасный характер: он высокомерный, капризный... Мне кажется, я только мог его “выносить”. Не знаю, что он думает обо мне. Наверное, то же самое...

Во всяком случае у нас была дружба “в упор, без фарисейства”. Мы расходились и сходились (так же и эпистолярно). Но: кроме Базиля никто не приехал навестить меня в одесском изгнании: (Справедливости ради скажу: маман приезжала, но это было позже, во время второго одесского сежура, то уже была не ссылка, а скорее, действительно, “сежур”.)

После трех дней “освобожденья” прихожу на службу. Возгласы радости, обмен любезностями: меня окружают девушки-делопроизводители — ах милые мои! и офицеры кабинета.

Новый наш начальник захотел посмотреть: в чем дело. А это вы явились! Поправились? Ну-ну.

Я какой-то тихий стал после “болезни”, даже робкий. Застенчивый. Во мне такое иногда состояние пробуждается: может быть это “мое истинное”: быть блаженным, вот так ходить по службе и улыбаться. Почти не говорить ничего. Смотреть начинают подозрительно: друг друга в кабинете изучили и знаем, что от кого ждать.

Столько шуму бывало устрою, столько разговоров. Сам себя уже не помню, с пафосом говорю. Начальник только слово вставить может: дайте и мне мол сказать. Ведь я подполковник, в политической академии учился!

Я почти как кот булгаковский ему: знаем, там все такие учатся! Витька, например.

А какие генералы были, уже лучше и не вспоминать, вы говорите: подполковник. Называю несколько генеральских фамилий с сомнительной или бесславной репутацией.

Это было при прошлом начальнике. Напомню, что его “ушли” из нашего офиса из-за любви. Да: романтическая история. Влюбился в одну вольнонаемную даму службы. Везде с ней появлялся, как Людовик с мадам Помпадур. Но та была, простите, мэтресс де титр. А это подполковник забыл какие времена. В самом деле: о темпора, о морес! В утешение ему дали баранью папаху. Если быть до конца откровенным и забыть мелкие злодеяния, которые он мне чинил, то стоит признаться: его роман с вольнонаемной дамой заставил меня изменить отношение к нему. Потом когда я увидел его случайно во дворе школы, уже в бараньей папаше, то подумал с грустью: а ведь он не похож на барана. Он поднялся до влюбленности, до куртуазности семнадцатого века, посмеив завести мэтресс де титр! Вдруг оказался униженным до такого состояния. Он не посмел отказаться от каракулевой папашки, от мечты заурядных людей.

При встрече он, конечно, делал хорошую мину. Но я чувствовал, что он понимает низость своего состояния.

Все равно человек когда-то поднявшийся до влюбленности уже получил право на уважение к себе.

Выхожу из стеклянного павильона метро похожего на китайскую пагоду, которую мог бы построить Ле Корбузье.

Глоота морозный воздух. Уже утро, но все тонет в темноте: люди, трамваи, здания. Острроверхие крыши все же отчетливо видны на светлеющем небе. Эти дома в который раз заставляют меня забыть где я и куда бреду. Скандинавский город, северная химера.

Пройдя квартал в направлении службы вдруг вижу на крыше одного из домов сидит Конфуций. Несмотря на неяркость и даже туманность рассветного часа я смог различить красный шелковый халат с желтыми цветами, черную шапочку с кисточкой и туфли с загнутыми носами. В тот момент, когда я заметил его, он был занят письмом: на желто-белом свитке он что-то писал, обмакивая кисточку в фарфоровую баночку с тушью.

Писал он очень старательно, с любовью выводил иероглифы как ученица.

Лицо его было прекрасно: румяное от мороза, черная бородка с серебряными волосками, черная косичка выбилась из-под шапочки.

Каким же было мое удивление, когда заметив меня, он стал вдруг церемониально кланяться, отложив свой вощенный свиток и баночку с тушью. Как будто он ждал, когда я буду проходить к себе на службу... Я тоже ответил ему церемонным поклоном, сложив руки ладошками: так в фильме раскланиваются гейши во время чайной церемонии. Он был рад встрече, это видно по всему. Я же испытывал некоторое замешательство: не каждый день видишь Конфуция, сидящего утром на крыше дома.

Хотя я по роду своих занятий очень далек от всего изысканного: китайского или японского, но значения жестов Конфуция мне показались простыми и понятными. Я понял, что он был рад встретить меня, желал мне процветанья и благополучия, душевного спокойствия.

Мне было неловко от того, что я опаздывал на службу и должен был проявить суетливость. Но философ правильно понял меня и сделал жест, означающий: всего доброго, тысячу комплиментов! Обескураженный, да: почти потрясенный увиденным, я подошел к двухэтажному дому во дворе, где находился офис...

Мой нос вдохнул приятный запах ванили и теплого хлеба, ведь по соседству располагался хлебный завод.

После ледяного ветра — Маркиз де Кюстин утверждает, что город находится в тундре — попадаю в душный тропический кабинет службы. Повторяя по себе фразу “нет лучше сгнить в стуже лютой” улыбаюсь майору. Он увидел меня и содрогнулся всем телом как будто я шаман на самом деле, а не он. Разумеется, во мне есть что-то от шамана, хотя я не ржусь как майор в шаманские одежды и не пляшу с бубном в этом ка-

бинете, заклиная злых духов. Он воображает себя шаманом, потому что в прошлом — сибирский офицер и очень любит наряжаться.

Что-то тривиальное говорю девушке-делопроизводителю. Улыбаюсь ей. Она смущенно прячет лицо в ворох бумаг. Стыдливость украшает девушек.

Мне не совсем хорошо, после болезни я не успел окрепнуть, влажный и жаркий воздух кабинета вызывает тошноту. Сажусь, покачиваясь за стол. Ничего, привыкну как-нибудь, ведь раньше здесь служил...

Да: в кабинете одно время года, как говорят в Эфиопии.

Там, рассказывают всё время весна. Не знаю.

На этой службе во всяком случае вечное лето.

Ни сезона дождей, ни муссонов ни сирокко...

Плавают рыбки, верещат попугаи...

Меня дурманят необыкновенной красоты тропические цветы (вспомнить хотя бы таможенника Руссо). Офицеры похожи на боевых слонов. У них толстая кожа, бивни... Они поднимают хобот и кричат. Похожий на павлина начальник с завитой челкой важно расхаживает по кабинету.

Невольно попадаешь под очарование службы. Ах если б не болезнь служил бы как Гоген на острове службы. Наслаждался бы экзотическими красотами, писал Мемуары... Отвечал бы взаимностью этой девушке-делопроизводителю словно смуглой островитянке вечером когда веет прохладой с океана... Но: это мне чудно все! Их золотые плоды, все экзотические красоты службы — мне северному аборигену!

Но: живет во мне страх быть изгнанным из службы-парадиза, где ни зимы, ни осени, а вечное лето! Абориген воображающий себя попугаем на странном острове службы...

В часу пятом уехал со службы на трамвае. Пробирался словно в зарослях бамбука, но напрасно: начальник похожий на павлина даже не посмотрел в мою сторону. Он важно ходил взад-вперед мимо кабинета.

Вот я еду в трамвае к Литераторским мосткам, везу в портфеле обещанную юноше книгу: Мемуары Гогена.

Этот странный юноша все тайны сердца открывает Алене, не мне... Я, конечно, далек от ревности: это смешно и нелепо! Он относится ко мне с большой нежностью, несчастный юноша, но его очевидно удерживает стыд, или скромность? Алене нельзя не открыться, она харизматическая личность. Впечатлительный и тонкий юноша сразу же доверился ей.

Полина Макова, которую я встретил в богемном буфете при вокзале, рассказала мне о замысле своей новой повести. Ее героем станет юноша, заболевший таинственной болезнью эйдж, чумой нашего времени! Времени было мало и я не стал расспрашивать ее о развитии сюжета, действующих лицах и т.д. Она обещала приехать на Литераторские и там читать отрывки.

Капитан наш нашел себе комнату: на Садовой. Собирается покупать машину. Потом поедет в Африку зарабатывать себе на жизнь.

Сегодня его не было на службе, уехал в охотничье общество, попросил меня “попахать” за него.

Проезжаю по мосту и люблюсь черной водой в прорубях. Лелею заветные мечты, укутанный в кокон теплых чувств, светлых мыслей. Того и гляди не дожидаясь лета, набухну и превращусь в бабочку. И буду летать целый день, садиться на прекрасные цветы... Огромное количество минут! до самого вечера...

А там и умру в ночи.

Я прохожу мимо ограды и спускаюсь в небольшую уютную комнату. Там уже сидит Алена и о чем то говорит с юношей.

Выглядываю наружу: декабрь. Черные деревья на фиолетовом небе. Плывут льдины по реке.

Вздыхаю, но не горько. Выхожу на берег реки. Вот оно — мое настоящее (в смысле “имеющее ценность”, “подлинное”). А этот в буквальном смысле опереточный антураж: служба с офицерами (военные чиновники!), кони пасущиеся на стадионе физкультурного заведения, бестиарий с бочкой — вторая реальность.

Меня — потомка аборигенов — заставлять играть роль вместе со всеми в этом водевиле.

Но я не кляню свою судьбу! Нельзя, императив такой...

Я думаю только: как лучше исполнять доставшееся мне. Думаю без лукавства, ведь я сейчас один на берегу реки. Все что есть во мне лошадиного, обезьяньего, попугайского исчезло в это утро. Как сон, как утренний туман!

Приехали туземцы из Африки. Точнее: с острова, где горы, океан, в пещерах там хоронят покойников, а потом перебирают их кости и бережно заворачивают в чистые тряпки. Они смуглы и словно выточены из эбенового дерева. Тоже театр!

Я работаю с ними: хожу и толмачу. Туда-сюда.

Это уже лучше чем сидеть с майором в душном как тропический лес кабинете, где нормальные люди сходят с ума от кабинетной жары, запаха кабинетных цветов (они сладко пахнут, ядовитые цветы), верещанья попугаев...

Девушка-делопроизводитель стала невозмутимой, как больная. Словно отсутствующей, со стеклянными глазами... От палящего солнца кабинета она почти ослепла. Но продолжает ходить на службу, боясь потерять это место. “Теплое”, убеждают ее родственники. Она и сама перестала замечать за собой странности: здесь все почти такие.

Бедная девушка, так любившая мои рассказы про гейш и разное другое, влюбленная в меня тайно, безответно, безнадежно.

Грустная история.

На этой службе я как бы не к стати. Я — Гоген-художник... Я — абори-

ген-чухонец. Я — лошадь Просвещения. Я — говорящий попугай. И прочая, и прочая.

Так думал о себе мучительно я к исходу третьего дня освобождения. Завтра вновь полетусь в офис.

Думал также о Маркизе де Кюстине, о его “пасквиле” сочиненном о России (выражение Николая), о чувстве странном: мне кажется что я тоже путешественник и мои наблюдения до некоторой степени совпадают с Маркизом... Это были самые первые, т.е. ошибочные впечатления. Пока читаешь: ты как будто сам из Парижа злой на корабле к Васильковому острову пристал... Да, разозленный Маркиз (потом мне станут известны некоторые причины его обид и гнева) приехал в Россию и не ошибся, нашел то что хотел. Потом вернулся в Париж и написал во французском стиле. Вольтер был мудрым и в Россию не поехал, жил во Фернее, переписывался с Екатериной. Она ему писала: в Вашем возрасте пить столько кофею неблагоразумно! в таком духе.

Да умом французским Россию не понять.

Все-таки Вольтер был умным человеком: и не приехал! А “Историю Петра Великого” пробовал у себя дома писать. Вот оно французское благоразумие. Золотая середина!

О России всего лучше во Франции писать: так делал например Бердяев. Так же поступал беллетрист Тарасян (член французской академии Анри Труайя).

Мне бы хотелось написать “Клеветникам России” если б Пушкин не сделал этого “на свой необычный манер”.

От судеб спасенья нет: м.б. и мне будет несчастье на родину клеветать. Не дай мне Бог!

Надо полюбить этих безобразных защитников, сибирских и других офицеров, с которыми вместе защищаю на свой манер родину. Вереща в служебной вольере. Как попугай небесного цвета.

У нового начальства красиво завита челка, у него ухоженные усики, он вообще хорош собой. Весь ухоженный, холеный. Мундир у него видно по всему совсем недавно пошит: сидит на нем отменно. Что еще сказать красив новый начальник как расписной пряник! Я им сам невольно люблюсь.

Хотя известна моя неприязнь к начальникам: важным и надутым птицам!

Но уж лучше быть таким как наш новый начальник: молодецкатым подполковником с завитой челкой. Да: чем другим каким-нибудь неопрятным и грубым офицеров. Таких правда я не помню. Все мне попадаются образцовые начальники: франты! Немного глуповатые, фанфароны, пустомели... С такими и служить легче! Попадись умник: из службы ад сделается бы.

Быль бы я сам поумнее то и служилось бы мне легче. Дело даже не в уме: глуповатым служба мед! Меня подводит темперамент, даже, точнее говоря, патологическая веселость. Почти постоянное эйфорическое состо-

ание. Это м.б. и хорошо, даже идеально: такое бьющее через край душевное здоровье. Да, по-гречески эйфория это прекрасное самочувствие, а для совр. психиатров — аберрация! Отклонение от нормы. Нормой считается “нормальное” состояние, которое они и описать не могут. Т.е. ни то ни се. Животрупное состояние. Мне очень нравится “пушкинское” состояние — светло-грустное! Но и с таким состоянием на службе делать нечего. Сказали бы: одна из стадий маниакально-депрессивного психоза. Так же как и эйфория, т.е. прекрасное самочувствие. Чехова бы давно уже выгнали со службы. Циклотомия!

Мне становится чрезвычайно забавным сочинять всю эту службу: весь антураж, офицеров и себя, и девушек-делопроизводителей. Закручивать все действие на службе. “Никто не скажет: я безумен!” Никто слава богу не знает о моем сочинительстве. Сразу бы объявили безумным. И в желтый дом! И на цепь!

А так у меня репутация не совсем конечно нормального, скажем, странного офицера... Который громко смеется, да: вдруг засмеется, а видимых причин вроде и нет! Ну м.б. вспомнил что-то смешное... Читает часто: как голова только не болит. Но у всех в конце концов свои извинительные слабости.

Мой начальник не думает, что я уж совсем “конченный” человек-офицер. Еще медаль получите! Попомните мое слово.

Работу свою Вы любите. Будьте собранней, не летайте на облаке! Удивительное терпение проявляет к рассказам майора одна из наших девушек-делопроизводитель. Воспитанная девушка, ничего не скажешь. Она отрывается от своих бумаг или перестает стучать на машинке, когда майор вспоминает очередную историю про свою дочку, или про жену (казалось бы о ней он мог бы не рассказывать, ведь она служит вольнонаемной в другом кабинете), или про бурундучка, которого купили они с женой на Кондратьевском рынке.

Купили не для дочки, она уже взрослая, скоро в институт поступать! А так, из любви к животным. Еще есть много историй про службу: за двадцать лет везде с женой послужили!

Вот и тебе бы, говорит он обращаясь ко мне, не мешало везде послужить, страну посмотрел бы! Как я! Мы с женой и в Сибири, и на Украине, и на Дальнем Востоке...

Что это за служба, продолжает пенять мне, Москва-Ленинград? Ха-ха, еще Одессу вспомнил, море!

Эх, вот выйдешь замуж за офицера — девушке-делопроизводителю — везде наездишься, как мы с женой, по разным гарнизонам!

Я не боюсь проявить неучтивость или прослыть невоспитанным: поворачиваюсь спиной, иногда закрою уши. Вторая девушка-делопроизводитель заболела или сказалась больной. Ей нет и двадцати лет, она нежна... В ее годы, проводить время в этом страшном и опасном кабинете: пусть все это и декорация, все надуманное — бутафория! Но привыкаешь ведь, принимаешь за действительность... Это должно действовать

на неустойчивую психику юных девушек, незакаленные нежные создания.

Как они любят играть, офицеры нашей службы. В шкафу хранят маски и костюмы, баночки с кремами, гримом, весь свой любительский театральный реквизит. Переоденутся за шкафом и начнут скакать с завываниями, гиканьем, улюлюканьем. Вдруг заплачут — жалобно-жалобно. Засвистят. Закривляются. Застынут в самых невероятных позах. Признаюсь, что и на меня, казалось бы уже привыкшего к этой буффонаде, некоторые эффекты действуют: то засмеюсь, то испугаюсь... Кажется, что этот театр никогда не кончится. И длится он месяцами, годами... Как жизнь: без начала и конца. Поэт прав!

Спасительный агностицизм: не знать своего состояния.

Рассчитывать на сострадание: ведь это — слепота!

Быть “слепым музыкантом”. Тебя жалеют на службе, но не прогонят. Платят исправно “денежное довольствие”, т.е. по латински говоря: сольд! как наемнику, как солдату!

Странное и противоречивое состояние... Да: парадоксальное если начать рефлексировать. Т.е. задумываться. А зачем задумываться — рефлексировать?

Будучи по природе своей любомудром, или софистом, вдруг переверну все иначе и начну рассуждать о спасительном гностицизме, когда головой вдруг снимаются противоречия и жить становится легко.

Думаю я немного, потому что служба мешает. Меня отвлекают, пристают с поручениями. И то славно: не разовьется гиподинамия от сиденья на стуле день-деньской. Сам иногда прошу поручений: нет ли чего исполнить?

Природа сделала меня таким: эйфорическим. Доктора говорят, что это от гормонов. Таков мой организм! Надо все переносить: и эту службу, и этих людей — в прекраснодушном настроении. Конечно, бывают срывы! Я ведь по природе не герой, а наблюдатель... Художник более чем человек в пейзаже... Или дерево, или стог, или какая-нибудь девушка, поливающая цветков на службе... Меня все волнует: и цвет травы на службе, и блеск воды, и плач майора, и красота нового начальника!

Меня вдохновляет это на творчество. Я не могу усидеть на стуле, порываюсь встать... Верчусь на месте. Хлопаю в ладоши. Пристаю ко всем.

Майор наряжается потехи ради в Распутина. Почему он избрал персонаж этого удивительного “старца”, до конца не ясно. Можно предположить, что это проявление майорской любви ко всему мистическому, русскому, сибирскому... Дня не проходит, чтобы майор не вспомнил о своем сибирском прошлом: обучение в танковом училище. Романтика: мороз и солнце! И все остальное в таком духе: восторженное. Достает из кителя портмоне, толстыми пальцами вынимает фотографию: круглое лицо юноши-курсанта. В Сибири я, двадцать лет назад! Девушка-делопроизводитель и я не можем оторваться от майорского —

в прошлом, в Сибири — лица! Перебивая друг друга говорим комплименты. Майор наш как девушка краснеет. Ему приятно. Говорят, что дела одной из наших девушек-делопроизводителей плохи...

Что ж, пребывание в этом служебном кабинете не должно пройти бесследно. Когда я записываю в тетрадь эти сроки, другая, оставшаяся здоровой девушка не сводит с меня глаз. После того как ее напугал майор, выскочивший из-за шкафа, она начинает тихонько посмеиваться. Капитан смеется всегда — громко, по-гусарски — в этом нет ничего удивительного, он — жуир, бонвиван!

Веселие — нездоровое, слишком уж яркое, как те тропические цветы на картинах Руссо — оно приходит неизбежно после гнетущей мрачной атмосферы, когда все подавлены, смотрят тупо в бумаги, или в пол: бессмысленно стучат машинки, скрипят дверцы кабинетных шкафов, лязгает ключ открывающий майорский сейф, раздаются глухие шаги офицеров и вольнонаемных... Вот он шумовой фон службы: начнешь прислушиваться — потеряешь здоровье!

Отсюда: неизбежность веселья. Кривлянья, громкого смеха, беготни друг за другом по кабинету. Навеселимся бывает до упаду, как пьяные потом сидит за столами и на крутящихся как у пианистов стульчиках: размякшие, пустые...

Войдет подполковник, чтобы что-то сказать. Так, ерунду какую-нибудь... Кто-то обязательно не удержится и приснет со смеха. Скорее всего, это случается со мной. Капитан с майором хранят внешне невозмутимые лица: в сердце веселятся злорадно, шас мол его... А девушкделопроизводители тоже хохочут. Одну за шкафом не видно, только раздается всхлипывание, попытки подавить смех. Другая за машинкой кривит лицо: и хочет серьезной удержаться, а не может. Начальник только скажет: веселитесь тут, ну-ну.

Новый подполковник очень осторожен: в походке, речи. Думает, что будут говорить о нем. Я считаю, что это благоразумно с его стороны. Неправильно сказанное слово, неудачное выражение могут свести на нет его неустоявшийся авторитет. Он правильно полагает, что может оказаться посмешищем всей службы. Он видит уже как его передразнивают в нашем кабинете, как изображают походку, повторяют любимые фразы...

В той тщательности, которую он придает своим манерам, я кроме всего вижу еще и уважение к нам, своим подчиненным. Он должен служить примером другим начальникам: закрываясь в своем кабинете, он достает из стола орфографический словарь, ставит на стол зеркало, раскладывает предметы ухода за лицом...

На службе как в пустыне. Вынужденное состояние.

Длинные дни сиденья в кабинете похожи на описание пустынь. Даже самые восторженные, как допустим у Экзюпери: с цветущими колючками, лисичками, тишиной...

Тот, кто подумает, что я склонен описывать пустыню-службу од-

носторонне в одних лишь серо-желтых тонах, ошибается. И мне пришлось испытать немало поэтических и восторженных минут в кабинетепустыне. Военные чиновники или офицеры похожи на жителей пустыни: скорпионов, тарантулов, ящериц, верблюдов... Они такого же цвета как пустыня, такие же терпеливые и неприветливые как она. Нет в пустынных днях службы городского шума, или музыки так привычной для жителей городских трущоб и хороших кварталов? Да, но зато есть тишина...

И есть лазарет, куда я попадал как в оазис после бесконечных переходов по жарким пескам под палящим солнцем. О прохлада лазарета... Забота нянечек, медсестер. Сладость утренних часов, ведь не надо вставать, повинаясь крику безумного дневального.

Три дня освобождения вот радость в пустыне службы!

Как приятно лежать у себя в доме-бочке или башне или в аборигенском вигваме, чуме, яранге, казе и прочая. Не скучно совсем, если не поддаваться козням злых духов, которых посылает из своей тьмы Князь мира. Отвергнув бессмысленную суету, в которой пропадают лучшие дни, не слыша флейты и барабана, слушаешь тишину дома.

Вот парадокс: оказывается тишина служебной пустыни мира обманчива, если прислушаться то она состоит из бормотанья офицеров и вольнонаемных, рядовых чинов, непонятных и нечленораздельных звуков, шорохов, криков...

Я думаю об этом, сидя в садике неподалеку от семинарии, поджидая профессора, с которым мы условились встретиться.

Профессор по своему спасительно ограниченный человек, подобных ему людей много на службе, где тоже нужна спасительная ограниченность. Это позволяет жить легко, хотя и не счастливо м.быть. Сохраняя видимость достоинства и чести, инфантилизм или детскость (не путать с тем, что называют "детством" или говорят "он как ребенок"). Инфантилизм взрослых людей это спасительный идиотизм, которому подвержены очень многие. Желание играть во что-либо: в войну, в науку, любить лечить детей, петь, писать, танцевать...

Майор похож на Распутина, если верить описаниям французского посла Мориса Палеолога: он ходит мягко ступая в своих начищенных до блеска сапогах, он оказывает несомненное чарующее действие на наших девушек-делопроизводителей. Когда он рассказывает свои истории, они не могут оторвать от его пухлого лица мутных взоров. Бедные девушки, они настолько истомлены страстью, что кажутся, нет, наверное, в самом деле больны. Одна часто отпрашивается, сказавшись нездоровой. Своим голосом: томным, страстным он способен довести их до нимфомании.

Кажется, что на нем расписная рубаха, подпоясанная кушаком, который мог быть вышит любовно руками наших девушек. Они готовят чай, самовар на столе уже закипел, достают из своих сумок всякие угощения: крекельки, пирожки...

Майор встал из-за стола, улыбаясь как кот, стал прохаживаться по кабинету...

Когда же кончатся его истории про дочку (нашли наконец ей жениха-курсанта), про бурундучка, про службу!

Девушки-делопроизводители слушают, раскрыв рты.

Я думаю, что если меня еще не изгоняют со службы, то это божественное прогнание и надо плыть по течению: куда вынесет! Т.е. служба похожа еще и на мутный поток, на Миссури или Желтую реку. Несет меня как Гекельбери Финна или кого-нибудь еще на плоту. Мимо берегов жизни, где рождаются и стареют люди разнообразных состояний и достоинств.

Мне как герою какой-нибудь книжки непонятно как умудряются жить люди "там", за пределами службы. Мне понятен пафос прапорщика из водеvila, который утверждает, что "они и ходить то как следует не умеют"!

Пока я предаюсь моим мечтам под сенью службы, юноша рассказывает Алене о своих бывших любовниках. О студентах театрального института, о японце, молодом красивом арабе, об американском морском пехотинце из охраны консульства...

(Юноша знает, что все истории любви станут известны мне, кто знает: нет ли в этом умысла?)

В привокзальном буфете, где мы встречаемся с Аленой, я узнал от нее такую новость:

Лизин туалет собираются весной закрыть. Да: совсем закрыть как туалет и переделать его под кооперативное кафе для литераторов. Хорошая идея: такое маленькое уютное кафе. Как в Таллине или на Арбате. У Литераторских мостков, название готово! Об этом рассказал художник-оформитель, которому поручили заняться интерьером.

А что же будет с юношей? Куда он теперь? А Лиза? Та поживет у старообрядцев в часовне, в Рыбачком. Или поедет к своей подруге в архангельскую деревню. Они же собрались в какой-то северный монастырь податься? А юношу может быть с собой возьмут. А может поедут все сторожить музей Хлебникова при погосте в Новгородской деревне. Поживем-увидим, говорят.

Эти известия меня, признаюсь, поразили. Рушится на глазах гавань для усталых и счастливых людей. Как весело было в последнее время, когда профессор приводил с собой кроме студента, мужа балерины и семинариста симпатичного мальчика из военно-медицинской академии. Алена, которую совсем не соблазняют юноши и та заглядывалась на него. Даже ходила вместе с ним в анатомический музей при академии, спускалась в подвал морга, рассматривала препараты... А старушка, бывшая банщица из Щербакова переулка? Она лишится такого общения, где раскрыли ее талант, где она чувствовала себя нужной: помогая Лизе в уборке, ведя пусть и не очень обременительное хозяйство. Все так привязались друг к другу. Ведь в городе нет салонов, где собирается

приятное общество. А если и есть подобия, то наверняка там люди случайные, неинтересные друг другу, похожие как инкубаторские цыплята или военные.

Я думал, что у мужа балерины и профессора наверняка есть дома, куда их приглашают... Но там все не то, чего то не хватает! Не зря мужебалеринская жена уехала в Париж, “на стажировку”, к Бежару или Нуриеву. Какая разница: пусть Бежар и переехал из Брюсселя в Женеву, там все рядом. А сказать нам: в Париж, к Бежару! — это класс.

Ни профессор, ни муж балерины не знают еще об этой новости. Правда, до весны еще несколько месяцев...

Всем весело, потому что начальник еще не скоро вернется из отпуска! Эти офицеры кабинета которых я вижу каждый день раздражают меня как раздражают строки и слепни мальчика, пасущего скотину в жаркий день...

Другие дети побежали к реке!

Здесь же в военном кабинете непонятная погода, непонятная от того что нет определенного времени года, нет времени, кажется. Не странно ли?

Тропический лес, полный опасности и красоты, где жара сводит с ума, где приходится вдыхать аромат ядовитых цветов... Откуда трудно убежать!

Читаю воспоминания Гогена.

Служба кажется тропическим лесом, сам я себе кажусь то французом-художником то аборигеном с шоколадным телом. Чтобы отдохнуть от книги принялся сочинять письмо Базилю:

Милый друг!

Моя хандра растаяла с последним снегом... Вновь я бодр и весел: такой, каким ты оставил меня прошлым летом. Ты спрашиваешь, чем я занимаюсь?

Живу... Других занятий не появилось!

Впрочем, ты сам знаешь, то единственным серьезным занятием.... (письмо прерывается — зашел офицер, толстый капитан и начал отвлекать).

Капитан остался за старшего в кабинете. На столе стоит кулек с конфетами... Да: кулек с конфетами, зеленые горошинки! Он угощает всех: угощайтесь! (делает жест рукой)

У капитана багровое лицо, огромные кулаки. Его легко представить в черном трико на арене шапито, играющим легко огромными гирями. Он сидит за маленьким столом, потя перебирает бумаги, что-то записывает на листке. Составляет финансовый отчет: билеты подклеивает на отдельный лист, записывает копеечные суммы. Бравый капитан! (Не путать ради Бога с другим капитаном, моим коллегой.)

Я ухожу из кабинета-тропического леса.

На стадионе вижу лошадей. Они бегают вокруг стадиона как будто это цирковые лошади, а не спортивные.

Я еду в декабрьском трамвае. Со службы еду к Литераторским мосткам.

В небе розовом и синем — зимнем — солнце сияет блестящим желтым кружочком.

Во мне громоздится собор воспоминаний — это прошлое подобно лентуловской картине во мне выстроилось праздничным собором. Сбылось реченое поэтом: нет настоящего, жалкого нет.

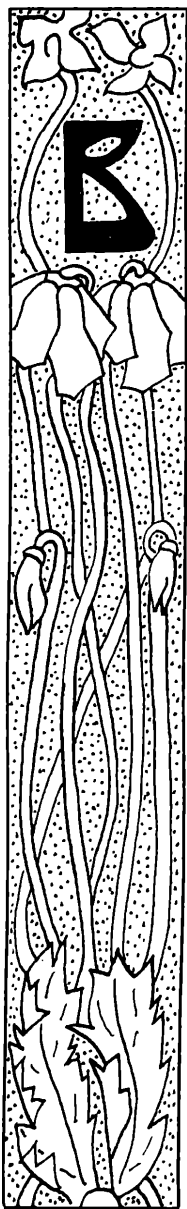
Я — настоящий — жалкий, переводчик-офицер фехтовально-гимнастической школы поглощен огромным пространством собора: моим прошлым.

Линии, придающие форму событиям и людям кривятся, ломаются, создают причудливую композицию.

Что делать с такой памятью? И все же красивый собор торжествует над мои настоящим: само его создание разве уже не чудо?

Пока догадываются, что меня не существует на службе, что я создан ими как поручик Кижэ по русской традиции, пройдет немало времени. И даже тогда, т.е. в момент истины: когда инфантильный майор ничего в мире не любящий больше службы, крикнет мальчиком: а ведь его нет! никто не посмеет доложить об этом “по команде”. Скорее всего, походатайствуют о моем переводе в какое-нибудь другое военно-воспитательное заведение, куда меня запишут в штат. Это может быть, например, бывшая Медико-хирургическая академия, основанная еще при Павле. Как говорят французы: пуркуа па?

А пока, я еду в трамвае, а служба моя валяется где-то у подножия храма искусства, памяти, высшей собором а ля Лентулов, жалким реквизитом, бутафорским барахлом, среди которого валяются марионетки из дерева и папье-маше, похожие на военных чиновников, вольнонаемных и других персонажей, занятый в пьесе.



СТРЕЧА

Поэтический альманах «Встреча» выходил в Москве в 1986 году. При невозможности официальной публикации альманах стал в полном смысле слова местом встречи большой группы поэтов, в основном ориентирующихся на классическую традицию. Среди участников альманаха были Сергей Гандлевский, Дмитрий Веденяпин, Александр Сопровский, Евгений Хаит, Илья Френк, Сергей Овчинников, Игорь Болычев, Виктор Санчук, Андрей Голов, Алексей Цветков, Григорий Дашевский, Алексей Прокопьев, Ян Пробштейн. Всего вышло пять номеров альманаха.

А.Н.



ДОЖДЬ В ГОРОДЕ

Черных тел заломенные руки —
в липах капли и всплески сплетен,
шорох мелкий.

Каменным окурком
на дороге

догорает

ветер.

Это шарфа тлеющего петли.

Дым прямоугольный

огибает скверы.

Все длиннее стены и столетья,
всех навязчивей амбир — фанера.

Это шлейфы, шелк автомобилей,
газ сиреневый, стакан на перекрестке,
известь в воздухе,

по воде вилами

пишут лебеди,

в чугун отлиты лоси.

Листья цвета рук и никотина.

Мы здесь были, только много раньше.

Листья: лица. Улицы: картины.

Бледной правдой карандаш окрашен.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

Мир не найдет себе места и времени,
но всего сильнее болит голова
ночью весенней, растущей из темени,
брызжет зеленою кровью трава,
брызжут как тайнопись — заводи звёздные,
где бултыхается лунный сом
чары, чернила, все крашено позднею
кровью зеленой, мир невесом,
невыносим, он глядится в глаза мои,
как осиянная ночь — тиха,
самые первые, кислые самые
ветки зеленые — плоть жениха,
времени дикорастущего завязь

сладко в звенящем кусать саду,
и от любви к тебе не оправься,
я появлюсь, но тебя не найду,
не обниму — эти вечные прятки,
вечные ночи весенние — мой
звездный, зеленый, убийственно краткий,
спелый, как сом, обозримый, земной,
морок неумный, восторг неумный,
ибо от крови зеленой пьян,
вмиг закипающей и незаемный,
бьющей в ушах, это зренья изъян:
тихо земля отражается в заводи
звездной и кружится вместе с тобой,
жизнь, вместе с облачком чистым, но загодя,
перед рождением — это разбой,
это грабеж среди дня, среди ночи,
брызжет зеленою кровью трава,
нет, не чернила — зеленые очи,
нет, не предание — просто молва.

НОЧНОЙ СТОРОЖ

“Nachtwächter ist der Wahnsinn,
weil er wacht” (R.-M. Rilke)

“Не дай мне Бог сойти с ума...”

(А.С.Пушкин)

1

Боже, о дай же совсем ...не сойти с ума.
Кукла, игрушка, не сплю, ничего не делаю,
Знаю — живу на земле, сторожу дома,
Тела не знаю — луна похитила тело неспелое.

В лад этой музыке спрятались сонь и синь,
Лунные струны звенят на пустынной равнине.
Две воробьиные клавиши соль и си —
Утро. Надтреснутый свет. Он горит и поныне.

Сделаю что-нибудь, встану, огромная тень,
Слово скажу, чтоб услышали: жив еще, жив еще.
Боже, о дай же мне голос глухих деревень
В час, когда только собаки летают над крышами.

3

Кто смотрит вверх, тот слышит шум колес,
и понимает: небо — это поезд,
созвездьями кипит платформа Лось,
верхи деревьев тонут в них по пояс.

А там, внизу игла снует в углу,
стриж чиркает над кровлей мироздания,
и звезды льют усталую смолу
мозаиками в залах ожидания.

4

Первый сторож ночной был Ной,
и с открытыми спал глазами
над мелькающей глубиной,
под горящими образами.

Этот пляшущий желтый свет,
вырываясь на чистый воздух,
оставляет неясный след,
лижет пламя сухие звезды.

Не случайный, наверно, дар —
видеть ночью.
Ночные дыры
днем в такой прорастут пожар,
что куска не найдешь от мира,

Только клещи и молоток,
только память о белой чаще
корабельной. —

И как итог:
совесть чище,
а волны чаще.

ПОСВЯЩЕНИЕ Ю.ГОДОВАНЦУ

Страшна не смерть нам. В этой мгле инертной
(когда, как зеркало, наверно, мир померкнет,
и озером измерят водомерки
спокойный сумрак, небо исковеркав) —

смысл паузы — по сути — паз в портфеле,
изнанка, зазеркалье, вкус “Эрети”,
изгнания и знаний пыльный ветер
и легкий шорох в дыме сигареты.

Так слово редко, что ласкает губы,
водой чернильной жжет, обводит профиль,
сиренью лечит и жасмином губит,
и заставляет подниматься брови.

Они растут, дождю и солнцу рады —
трав стрелчатых готические своды.
Но черный лес орнаментом ограды,
боясь пустот, заполнит всё в природе.

Виктор САНЧУК

* * *

Всё меньше лет, как спичек в коробке,
нам остаётся впредь до озаренья,
что, как рисунок линий на руке,
двух жизней высветит хитросплетенье.

Идя на свет от самого рожденья,
мы загодя привержены тоске:
здесь все больны, и на выздоровленье
надежды нет, как нет огней в реке.

Но вечна жизнь сполохов над волною,
где ночь долга, и на пустом мосту
в мир осязаемых выходишь истин.

Заполнен вспышкой миг — всё остальное
сродни небрежному движенью кисти
и превращенью в уголь на лету.

* * *

С.Г.

Монументальной, чем на площади шербатой
Пожарский с Мининым, моё благополучье.
Здесь был тягуч. И взят на веру случай —
судьба Неглинки, “Добрый бог Арбата”.

Здесь бой часов 12:00 Москвы
вещает вам, как будто счет хоккейный,
где вы не в проигрыше — в вечном плюсе вы,
почти вне времени, словно седан трофейный.

И я значителен, как мой народ
— сам под собой во власти, или, даже,
как бар пивной у Яузских ворот,
— как кружка полная весом и важен.

И воля мне блюсти абсурдный театр —
любезный уху говорок крамолы,
там восходящий где-то к небу Татр,
как звук органа в вышину костела.

Иль на пути — “и я еще смогу” —
к другим горам от твоего заката,
на Индию нацелясь, на бегу
взгляд замарать вознею газавата.

Асфальт к восходу, — ускользай из глаз,
как здравый смысл от праздных слов Ригведы:
сам знаю как, и мне не в первый раз —
разбитый “Опель” обозвать “Победой”.

Но будет вечером неразличим
тот спуск во мрак, и сделаюсь с мизинец
на длани каменной, где по ничьим
тьнь территориям ползет к низине, —

И тихо я, лишь стану по местам
ночных предметов истинные свойства,
вернусь к в воде надломленным мостам —
вовнутрь колец московского устройства,

глотка воды живой не находя,
— а только жаркое немислимое лето,
чье кредо выпила, как капельку дождя,
Москва-река, впадающая в Лету.

* * *

Прощай. В необозримом мире нет,
— нет данности, словно внутри трюмо.
Так слово, потерявшее предмет,
смысл позабыв, уже живет само.

Не звать, и головы не преклонить.
Поскольку нечто в памяти любя,
не возродить, не ждать, не ощутить,
но лишь твердить: твое, тебе, тебя...

Тогда и сходства дней не избежать,
словно тюрьма, — как узнику — оков.
И начинаю жизнь запоминать
только по датам сочетаний слов.

* * *

Над крошевом из сумерек и льдинок
рассвет под стать латунному звонку.
За дверью, изменяющей замку,
апрель — как не ко времени будильник.

Так, что под утро кажется: нарушу
устройство монотонное, тогда
смешает числа талая вода
и хлынет потаённое наружу.

Не удержавшись в сумрачных лесах,
начнут стремглав раскручиваться дали,
как гибкая — какая есть в часах
упрямая спираль из белой стали.

Но, постигая стрелок оборот,
лишь иногда, по кромке циферблатной
загадывая время наперед,
одну из них пускаю в путь обратный:

весь собранный как бы по крохам, был
мир ирреален для меня, как атом.
Я в нём всего-то женщину любил,
да, кажется, дружил с одним хорватом.

Там в октябре о ветер бьется ветка.
Словно сквозь сон, душа припоминает,
что слышу — шелест трав? Родник безмолвный? —
березы осыпаются, и некто
с нее одежды ветхие снимает.
Гул рек подземных. Вспышки грозных молний.

* * *

Там, в глубине, неторопливой павою
плывет авто в глухую пропасть зим.
Я пережил себя, прожил, я стар,
я падаю, —
Мне этой ночи груз невыносим.

Уже не уведешь и не удержишь.
как ношей я обременен душой,
тяжелой, как издергавшийся дервиш
в блаженном сне, пропахшем анашой.

Еще июль — зеленый рай ислама;
как суры, судьбы спутаны, но я б
рискнул сказать, какой стезей грядет
возлюбленных и недругов, и само-
убийствами отмеченный ноябрь.
И скучно знать, что знаешь наперед.

* * *

День к весне обретаёт сумерки,
как в себе смятение грешник.
Там звенит, как копейки-тугрики,
чья-то жизнь от порывов вешних,

от нездешних колючих запахов,
от капли над бубном сердца,
как слова за вратами запертых
белых храмов — для иноверца.

О, как знаю тебя, как ведомы
мне все складки в твоей одежде,
когда ветер играет вербами,
как судьбой мы умели прежде.

* * *

Не то чтобы мы слишком торопились,
как будто кадры старого кино,
но данные нам лета округлились
в тот странный год, как цены на вино.

Ударится летучими шарами
былое о шершавый небосвод
и поплывет знакомыми дворами,
в чужой перекочевывая год.

Всё успокоится, уймется там,
всё разберется по своим местам:
гул голосов на лестницах морозных,
игрушечные радости зимы.
Как медленно от нас уходит воздух.
Как долго пустотой объята мы.

* * *

Я на плаву. — Шальной купальщик мая,
шагнувший вниз, не разбирая дна.
Из виду здесь теряется вина,
как будто парус на море без края.

Так для южан, должно быть, грудь Биская
прельстительна и слишком холодна,
во мне легка, как мишура мирская,
любая накатившая волна.

Двухмерен вечер, как в окне луна.
— Он, сутки пополам перегибая,
схож с горизонтом. Лишь на грани сна

вдруг страшно мне, что подо мной морская,
чуть шевелящаяся и немая,
как щель на складках карты, глубина.

ЗИМОЙ НА ПРИГОРОДНОЙ СТАНЦИИ

Здесь вымерзало время, как влага в ручьях.
Приятель сказал, раздражаясь немного,
мол, это судьба не моя и ничья,
а просто дорога, — такая дорога.

Приятель сказал: в цепь замкнулись шаги
на круге зимы среди общих знакомцев,
как в кольцах очков золотые круги,
идущие от предвесеннего солнца.

А провод над рельсами будто позвал
ушедшее, вещее, дрогнув под током.
И долго молчал ожидания зал
о чём-то нездешнем, о ком-то далеком,

кто выбрал поспешности эту версту,
как в булочной порцию черствого хлеба,
и жизнь, выходящую в пустоту,
как люки чердачные в черное небо.

* * *

Видишь: снег, мишура — мне сдаётся, что где-то
высоко белоснежный рассыпался мир,
и пустую, как кальку, разметив планету
одиноких следов осторожный пунктир.

Тишина разрастается ватным сугробом,
подступил к облакам елей медленный ряд.
Всё бело и печально, как лица за гробом.
Всё как будто католиков скорбный обряд.

Жизнь растратила власть и не требует больше
ни венчального плена, ни липкой листвы, —
оттого ли, что рядом печалится Польша,
или давние были плывут из Литвы.

Всё затянется матовым воспоминаньем,
и тогда, как печным осторожным теплом,
в полумгле наполняется дом ожиданьем,
долгий вечер, как сторож, бредет за окном.

Или тот, чужеродный как властный британец,
столб фонарный и яркий, в метели цветной
обмотав себя пледом, как пластырем палец,
как за тлеющим углем следит за тобой.

Упражнения в зимней серьезной науке
охлажденному разуму пищу дают,
и разрозненных слов возвращаются звуки,
покидая любви обветшалый приют.

И чтоб склеить судьбу, точно старую книжку,
сон бывает прозрачным и длинным, как скотч.
Всё бывает никчемным. Зима — передышка,
словно в оное время воителям — ночь.

Половицы и снег. Паутина и тени
вниз растут, как термометр, или безмен.
Так рождаются прошлое и привиденья
привиденью и будущему взамен.

Сергей ОВЧИННИКОВ

* * *

Я припадаю к холодам,
Ночным, настоящим на грусти.
Как опрокинутый стакан,
Морозное пространство пусто.

И лишь на самом дне его —
Последнем видимом пределе —
Звезда, погасшая давно,
Горит, как память о потере.

И, может быть, как прежде ты
(Но где-то за стеклянной гранью)
Жива, лишь новые черты
Стекло и холод насмерть ранят.

ПИСЬМА ИЗ БОЛЬНИЦЫ

1

За окнами уже четвертый день
Метет метель, но улицы не чистит,
Как дворник, позабывший о метле
И пляшущий над городом. С чего?
Бог разберет. Вживаюсь в новый быт,
Сливаюсь с полутемным коридором
И серую палатой. Время здесь
Так медленно, что гасится пространство.
Но вечность не является взамен
Заглохнувшего двигателя жизни...
Пространство в данном случае стрелок,
А время... просто жертва в ягдташе.

По небу облака, как корабли,
Плывут. Напоминает Одиссею
Их странствие, но с разницею той,
Что нет у них, я думаю, Итаки.

Здесь был старик; стоявший у окна,
Он походил на дерево без листьев.
Но не лицом — морщины представляли
Подобье трещин на иконе старой,
Лицо в застывшем облаке волос
По вечерам казалось мне библейским.
Когда из коридора полутьмы
Являлся он в дверном проеме светлом,
Я думал — если это Авраам,
То ангела не встретивший в пустыне:
Такая боль стоит в его глазах —
Давно окаменевший сгусток боли.
И то — сей современный Авраам
Давно простил ошибку божеству,
Верней забыл, и боль окаменела.

Куда-то сгинул он, печально я
Брожу среди туманных постояльцев.

* * *

*Всю ночь мне снился черный коридор
И в нем ничьих шагов тяжелый топот,
И смерть, как оскарбленный командор,
Врывалась в мой земной, пугливый опыт.*

Всю ночь я просыпался и спешил
Нащупать, как больной сиделку взглядом,
Целебный грохот ливня и души
Знакомой лепетанье где-то рядом.

* * *

Быть одиноким не дает звезда,
Холодная соринка на реснице.
Как это хорошо, что мне не спится,
О, сны мои, в которых ни следа
Людей, лишь маслянистая вода

У ватных ног бесшумно шевелится...
Нет, лучше эта ночь, где время длится
И не дает упрямая звезда
Уснуть угрюмым жителям столицы.

* * *

Состав, как толпа молодых грибников,
Рассыпался в роще колес перестуком,
Сдул с веток ворон и, гудком проаукав,
Помчался куда-то в свое далеко.

Но долго виднелась, махала рукой,
Печально кивала прозрачная роща,
Потом расплывалась, как память о прошлом....
— Куда мы торопимся, друг дорогой!

Зачем медяками зацветших прудов
Наш поезд платил горизонту за откуп
Всё новых пространств, если голые сотки
Не стоили наших утрат и трудов?

Сутулясь и не отходя от окна,
Швырял горизонт, что твой Плюшкин маяча,
Всё новые земли, как штуки сукна,
Но главное что-то в лохмотьях заначив.

Дмитрий ВЕДЕНЯПИН

* * *

Шуршат, обмякнув, крылья одеял,
Хрустит трава: в огромной ветхой раме,
Едва не падая, качается над нами,
Как зеркало, белеющий овал.

На нем написано, что каждый прошлый год,
Мелькнув, совсем не может раствориться,
Что будущее в прошлое глядится,
И жизнь, как сон, бежит наоборот

И, может быть, еще вернется к нам,
И мы навстречу кинемся из мрака...
Так в коридор бросается собака,
Хозяев узнавая по шагам.

ОТРАЖЕНИЕ

Черная голая ветка в оконном стекле.
Детский рисунок в альбомчике “для рисования”.
Рощица. Черные листья на черной земле.
Ноющий ветер. Пустая тропинка. Шуршанье. —

Души, как листья — на память приходит Аид.
Осень в Пицунде — на память приходит беседка, —
Падают звезды, но в пыльном окошке дрожит
Центр Москвы, и всё та же безлистая ветка.

Мальчик с собакой; качели; какой-то старик;
Девочка в свитере в сумраке зеленоватом;
Тающий шёпот, внезапно сорвавшийся в крик;
Ванная с ржавой трубой и трехцветным халатом;

Хмурый вокзал, почему-то пустое купе,
Жуткий сквозняк, неестественно острый и резкий,
Чьё-то кольцо, проблеснувшее в мокрой толпе,
Синий кораблик на серой, как дождь, занавеске.

Сон наяву, только явь как бы тоже во сне:
Полуразрушенный домик на Старом Арбате,
Низкое небо, безлистая ветка в окне;
Сумерки. Зеркало. Девочка в ярком халате.

ПЕЙЗАЖ В ТАКТ ШАГАМ

Закатный лес, светлеющий по мере
Того, как суша переходит в море,
Похож на сон о настоящей вере,
Которая всегда воздушней горя.

Которая смиряет ретивое,
И у дверей становится на стражу,
И в такт шагам пружинит, словно хвоя
На рыжей тропке, выводящей к пляжу.

Почти вся жизнь становится вчерашней,
Как детская бесплатная свобода,
А новое не то чтобы не страшно,
Но этот страх совсем другого рода.

В нем есть огонь и выжженные скалы,
В нем есть обрыв и пыльная дорога,
В нем нет ни мха, ни ягод... даже мало
Простой травы, но неба очень много.

* * *

Какой там м и р , сплошная кутерьма!
Не то что с в е т , а форменная тьма,
В которой — как бесхозная газета,
Мелькнувшая в мерцанье фонаря —
Теряешься и, честно говоря,
Как и она, не замечаешь это —
Ведь в общем редко падают дома
От сквозняка из 1-го псалма.

Нет, наяву река не рвется вспять!
И, если с полки раковину взять
И поплотней ее приставить к уху,
То странно обострившемуся слуху,
Привыкшему ш у м м о р я различать,
Откроется, что вместо воркотни
Про добрые сигнальные огни
Из добрых сказок Александра Грина

Там завелась такая “сонатина”,
Как будто тать уже на полпути...
Как вскрикнул царь, “Спаси, меня, Арина!
Мне страшно здесь, спаси меня, Арина!..
О, если бы она могла спасти.

* * *

Облако, прошитое пунктиром;
Черные отрезки в пустоте.
Тишина, влетевшая в квартиру
С непонятной вестью на хвосте.

На шкафу слоновий желтый бивень
За окном висят наискосок
Шелестящий гоголевский ливень
И звенящий пушкинский снежок.

На столе двенадцать сшитых писем;
Вдалеке шершавый южный свет,
Лунный блик на черном кипарисе,
Виноградный белый парапет,

Звездопад, сиреневые горы,
За горами в тучах комаров,
Деревенский домик за забором
Длинношеих солнечных шаров.

Рядом в бесконечно-чутком мире
Суетится остренький Порфирий,
Свидригайлов к Дуне пристает,
А Ставрогин к Тихону идет,

По дороге превратясь в площадку
В камышах на берегу реки,
Где старик в вонючей плащ-палатке,
Замерев глядит на поплавки.

Клюнуло! Рыбак привстал, метнулся
И с разбегу к удочке прилип.
В тот же миг внучок его нагнулся
И сорвал отличный белый гриб.

Свидригайлов вовсе не для смеха
Заряжает скользский револьвер.
“Барин, мол, в Америку уехал...”
“Аз”, “Добро”, но всех главнее — “Хер”.

Бабочка с хрустальным перезвоном
Чокается с лампочкой и пьет
Сумерки, как дачник — чай с лимоном,
А Ставрогин все-таки идет

На чердак в соседи к пыльной швабре...
В дальней чаще полыхает скит.
Над столом на медном канделябре
Кроткая карамора сидит.

Облако, прошитое пунктиром.
Поплавок, кувшинка, стрекоза.
Тишина, влетевшая в квартиру.
Широко раскрытые глаза.

* * *

Всё на самом деле очень просто.
Ветер, как налетчик, с высоты
Падает на улицы и с хлестом
Рвёт и мечет ржавые листья.

Тонкое прозрачное былое
Кануло во сны, а наяву
Первый снег шуршащий скользким слоем
Устиляет жухлую траву.

Две старушки, вырвавшись из арки
(Ужас в том, что это мать и дочь)
Тащатся по лужам к лесопарку —
Подышать, пошаркать, перемочь.

Две старушки, черные платочки —
Глаз слезится, голова дрожит —
Маме — девяносто шесть, а дочке
Тоже вроде этого на вид.

Всё на самом деле очень просто.
Над землей порхает снежный пух.
В печь кидают мёртвую бересту,
В крематорий — померших старух.

Плоть сдаётся пламени без боя.
Прошлое во снах, а наяву
Что-что золотисто-голубое
Заливает нежную траву.

От тепла сжимается и тает
Непричастность, как снежок в руках.
Над зелёным деревом летает
Алый голубь в белых облаках.

Ветер, как плавник вуалехвоста —
Водоросли, трогает листья
Свет, клубясь, глаголет с высоты:
Всё на самом деле очень просто.

В АВТОБУСЕ

У каждого своя посмертная судьба.
Автобус, как стрела, летит по перелескам.
Прозрачные лучи скользят по занавескам,
Как крестики стрекоз по рыболовным лескам.

У каждого своя посмертная судьба:
У этой девушки, откинувшей со лба
Прядь солнечных волос, у этого ребенка,
У этой женщины... За рамкою окна,
Шурша, колышется живая тишина,
Задёрнувшая всё как бы тончайшей пленкой.

Всё связано со всем и уж, конечно, то,
Что мы увидим там — с тем, что открылось в этом
Упругом и сквозном, прохладном и прогретом,
Увяжем в темноте, преодоленной светом,

Движенья времени на “взлётной полосе”,
Где каждый человек посмертный авиатор...
“Икарус”, как стрела, несется по шоссе;
Как эхо тишины, стрекочет вентилятор.

СНЕГ

Из плоских стен, сквозь серый потолок
Снег сыплется на стол, кровать, иконы;
В окне трещит бумага, как звонок
Сплёнутого скотчем телефона.

Как пузырьки в боржоми, колкий страх
Стоит у двери, прислонившись к раме;
На улице машины спят в чехлах,
Как полые тела под простынями.

Вертявая, колючая крупа
За стеклами прессуется, как вата —
Так шариков сшибается толпа
В стеклянном пузырьке гомеостата;

И выгнувшись, топорщатся взброс
Сухие паруса перегородок;
По волчьей воеет лоджия
.

ПОКРОВ

Сегодня на улице пасмурно и упруго.
Ветер воеет, как скрипки в концертах Шнитке.
Наклоняясь друг к другу, дома ненавидят друг друга,
Сыплет мелкий снежок, как в стеклянности той пирамидки
Из Гон-Конга — богатство волшебного детства —
Впрочем там он, конечно, был добрый, уютный и чинный,
А сегодня — колючий и резкий — смешное наследство
Мне досталось от мальчика — Луковки и Буратино.
Только вдруг оказалось, что в этой секущей завесе
Есть заветная щель, сквозь которую можно обратно
В тот удавшийся мир, в этот поезд с пейзажика Гессе,
Где всё так же безоблачно, нежно, легко и понятно.
Но как только открылось, что это и вправду возможно,
В тот же миг это стало беспомощно и безответно —
Пробираться вперед — иногда до отчаянья сложно,
Но стремиться назад — это, кажется, вовсе запрещено.
Утешитель-огонь, так нестрашно пылавший когда-то,
Так свободно и просто сжигавший пустые тревоги,
Замерцал, как церковная свечечка в “таинстве брата”,
Вспыхнул в самом конце сокровенной дороги.
А ведь только ему и открыты надежды и сроки,
Облетающий лес и над полем плывущие птицы,
Только Он и способен спасти, превратив одиноких
В нераздельных, а значит заставить пробиться
Счастье, построить такое пространство,
Где бы наши слова в замечательно-слаженном жесте
Стали больше, чем нашими — огненный праздник шаманства,
Превращающий тайное в явное страстного “вместе”.
Дело даже не в том, что в пощёчинах хлесткого ветра
Больше веры и прочности, больше покоя и смысла,
Чем в учебнике Эккерели в обществе Фриды и Педро
Под тактичным присмотром любезного мистера Пристли.
Просто вдруг для меня это облако вьюжного сора,
Грязноватой крупы, бесновато кружащей над нами,
Стало призрачно-ясным подобьем того омофора,
Что блаженный Андрей на молитве увидел во храме.
Просто вдруг этот вой, эти свисты, гуденья и стоны
Стали странно созвучны безмолвью застывшей поляны,
На которой святой, в глубине сотворенной иконы
Обнимает весь мир и целует ужасные раны.

Так что хныкать — грешно, тосковать и печалиться — стыдно,
Колкой вьюгой земля до последнего будет богата;
Дева держит покров — и под сжатыми веками видно:
Т и х о падает снег, но совсем не такой, как когда-то.

* * *

Любовь, как Чингачгук, всегда точна
И несложна, как музыка в рекламе;
Как трель будильника в прозрачных дебрях сна,
Она по птичьей кружится над нами.

Есть много слов, одно из них “душа”,
Крылатая — что бесконечно кстати...
Шуршит песок; старушки неспеша
Вдоль берега гуляют на закате,

Как школьницы, попарно... Мягкий свет,
Попискивая, тает и лучится;
Морская гладь, как тысячи монет,
Искрится, серебрится, золотится...

Рекламный ролик — это как мечта
О взрослости: табачный сумрак бара,
Луи Армстронг, труба, тромбон, гитара;
Прохладной улицы ночная пустота,

В которой чуть тревожно и легко
Дышать и двигаться, опережая горе,
И, главное, все это далеко,
Как противоположный берег моря,

Как то, чего на самом деле нет,
Но как бы есть — что в некоем смысле даже
Чудеснее... Часы поют рассвет;
Индеец целится, а значит, не промажет.

* * *

Мои друзья похожи на солдат,
Но только не на тех молодцеватых,
Подтянутых, немного хамоватых
Весельчаков, чей разудалый мат
Так бесподобно меток и богат;

А на таких, которые глядят
Растерянно и чуть подслеповато,
Пилотка им обычно маловата,
Штаны на них, как правило, висят.

На фронте, поднимаясь по приказу
В свой первый бой, они весьма жалки.
Как правило, их убивают сразу;

Чтоб после у подвернутой руки
Наткнулись — так поэт находит фразу —
На чудом уцелевшие очки.

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

БАЛЛАДА

“Две-три ноты в нестройном порядке.”

Б.К.

За Москвой-рекой в полуподвале
Жил высокого роста блондин.
Мы б его помянули едва ли,
Кабы только не случай один.

Он вставал удивительно поздно.
Кое-как раставался со сном.
Батарея хрипела гриппозно.
Белый день грохотал за окном.

Выпив чашку холодного чаю,
Съев арахиса полную горсть,
Он повязывал шарф, напевая,
Брал с крюка стариковскую трость.

Был он молод. С лохматой собакой
Выходил в переулки Москвы.
Каждый вправе героя гулякой
Окрестить. Так и было, увы.

Раз, когда он осеннею ночью
Интересную книгу читал,
Некто белый, незримый воочью,
Знак смятенья над ним начертал.

С той поры временами гуляка
Различал под бесплодным перстом
По вельню незримого знака
Два-три звука в порядке простом.

Две-три ноты, но сколько свободы!
Как кружилась его голова!
А погода сменяла погоду,
Снег ложился, вставала трава.

Белый день грохотал неустанно,
Заставая его в неглиже.
Наш герой различал фортепьяно
На высоком одном этаже.

И бедняга в догадках терялся:
Кто проклятье его разгадал?
А мотив, между тем повторялся.
Кто-то сверху ночами играл.

Он дознался. Под кровлей покатою
Жили врозь от людей вдалеке
Злой старик с шевелюрой косматою,
Рядом — девушка в сером платке.

Он внушил себе (разве представишь?)
И откуда надежды взялись?),
Что напевы медлительных клавиш
Под руками его родились.

В день веселой женитьбы героя
От души веселился народ.
Ели первое, ели второе,
А на третье сварили компот.

Славный праздник слегка омрачился,
Хотя "Горько" летело окрест, —
Злой старик в одночасье скончался,
И гудел похоронный оркестр.

Геликоны, литавры, тромбоны.
Спал герой, захмелев за столом.
Вновь литавры, опять геликоны —
Две-три ноты в порядке простом.

Вот он спит. По январскому полю
На громадном летит скакуне.
Видит маленький город, дотоле
Он такого не видел во сне.

Видит ратушу, круг циферблата,
Трех овчарок, в глубоком снегу,
И к нему подбегают ребята
Взапуски, хохоча на бегу.

Сзади псы, утопая в кюветах,
Притащили дары для него:
Три письма в разноцветных конвертах —
Вот вам слезы с лица моего.

А под небом заснеженных кровель,
Привнося глубину в эту высь,
С циферблатом на ратуше вровень
Две-три птицы цепочкой.

Проснись!

Он проснулся. Открытая книга.
Ночь осенняя. Сырость с небес.
В полутемной каморке — ни сдвига.
Слышно только от мига до мига:
Ре-ре-соль-ре-соль-ре-до диес.

1976

* * *

До колючих седин доживу
И тогда извлеку понемножку
Сотню тысяч своих дежавю
Из расколотой глиняной кошки

Народился и вырос большой
Зубы резались, голос ломался,
Но зачем-то явился душой
Неприкаянный облик романса.

Для чего-то на оклик ничей
Зазывала бездомная сила
И крутила, крутила, крутила
Чернобелую ленту ночей.

Эта участь — нельзя интересней.
Горе, я ли в твои ворота
Не ломился с юродивой песней,
Полоумною песней у рта!

1974

* * *

Цыганскому зуду покорны
Набьем барахлом чемодан.
Однажды сойдем на платформы
Чужих оглушительных стран.

Метельным плутая окольным
Февральским бедовым путем,
Однажды над городом Кельном
Настольные лампы зажжем.

Потянутся дымные ночи —
good bye, до свиданья, adieu,
Так звери до жизни охочи,
Так люди страшатся ее.

Под старость с баулом туристским
Заеду — тряхну стариной —
С лицом безупречно австрийским,
с турецкой, быть может, женой.

The sights необъятного края:
Байкал, Ленинград и Ташкент,
Тоскливо слова подбирая,
Покажет толковый студент.

Огромная русская суша.
Баул в стариковской руке.
О чем я спрошу свою душу
Тогда, на каком языке?

1974

ДЕКАБРЬ 1977 ГОДА

Штрихи и точки нотного письма.
Кленовый лист на стареньком пюпитре.
Идёт смычок, и слышится зима.

Ртом горьким улыбнись и слезы вытри,
Здесь осень музицирует сама.
Играй, октябрь, зажмурься, не дыши.
Вольно мне было музыке не верить,
Кошунствовать, угрюмо браконьерить
В скрипичном заповеднике души.
Вольно мне очутиться на краю
И музыку, наперстницу мою, —
Все тридцать три широких оборота —
Уродовать семьюдестью восьмью
Вращениями хриплого фокстрота.
Условимся о гибели молчать.
В застолье нету места укоризне
И жалости. Мне скоро двадцать пять,
Мне по карману праздник этой жизни.
Холодные созвездия горят.
Глухого мирозданья не корят
Остывшие Ока, Шексна и Припять.
Поэтому я предлагаю выпить
За жизнь с листа и веру наугад.
За трепет барабанных перепонок.
В последний день, когда меня спрононок
По имени окликнут в тишине,
Неведомый пробудится ребенок
И втайне затоскует обо мне.
Условимся о гибели молчок.
Нам вечность беззаботная не светит.
А если кто и выронит смычок,
То музыка сама себе ответит.

1977

* * *

Это осень. Как хлопья над чистым костром
Поднимаются полчища мокрых ворон
В оглушительный воздух вороний.
До свидания, это, наверное, он
Снизу из-под ладони глядит на ворон,
Мой единственный и посторонний.

Столько лет одиночества на одного.
Он спешит из глухого жилища.
Но чужая природа швыряет в него
Отвратительным словом Мытищи.

Возвращайся домой. Ты опять занемог
От сырого вороньего гама.
Но стучатся в висок, проходя потолок,
Кропотливые девичьи гаммы.

Для лукавых причины, не надо причин —
Ни болезни, ни женской измены,
Если с собственной долгой один на один
Замурован в домашние стены.

Никогда и нигде, ни о чем, никому
Даже слова сполна не пророним.
Оставайся навеки в бездомном дому.
Мой единственный и посторонний.

1977

* * *

I

Мужество... вряд ли, но музыке чужды слезы.
Грубым страданьем воздух по горло сыт.
Проза погоста драпируется в лакримозо.
День-деньской брат шарманки орган крематорский басит.
Сырая земля. Чужая толпа. Вот так мы уходим.
Ежедневно. Поодиночке. Отсюда — туда.
Служивцам, близким, кладбищенским доброхотам
Накрывают столы, священнодействует тамада.
Девять дней. Пауза. Сорокодневье.
Тарелки вымыты. Выдохся пир горой.
Утекли твои реки. Отшумели деревья
Самой первой любви и самой второй.
Дым над Никольским от матери, дочери, сына
Мало-помалу восходит в небо с земли.
Наземь поодаль снижается бог из машины,
Номер которой, быть может, сплошные нули.

II

Давным-давно забрели мы на праздник смерти,
Аквариум вещей скорби всюю прижимая к себе.
Сказочно-страшно стоять в похоронном концерте,
Опрокинутую толпой отразиться в латунной трубе.
В марте шестидесятого за гаражами
Жора вдалбливал нам сексологию и божбу.

Аудитория млела. Внезапно над этажами
Встала на дыбы музыка. Что-то несли в гробу.
Эдаким князем Андреем близ Аустерлица
Поднял я голову в прямоугольное небо двора.
Черные птицы. Три облака. Серые лица.
Выли старухи. Кудахтала детвора.
Детство в марте. Союз воробья и вербы.
Бедное множество музыки. Старческий гам.
Шапки долой. Очи долу. Лишь небо не знает ущерба.
Старый шарманщик, насилуй осипший орган!

* * *

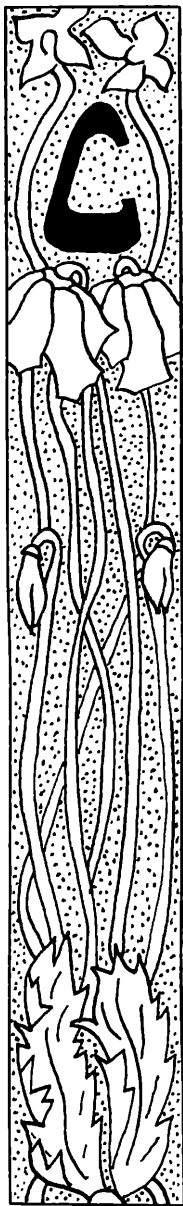
А вот и снег. Есть русские слова
С оскоминой младенческой глюкозы.
Снег валит, тяжелеет голова,
Хоть сырость разводи. Но эти слезы
Иных времен, где в занавеси дрожь,
Бьет соловей, заря плывет по лужам,
Будильник изнемог — и ты встаешь,
Зелёным взрывом тополя разбужен.
Я жил в одной стране. Там тишина
Равно проста в овраге, церкви, поле.
И мне явилась истина одна:
Трудна не боль — однообразье боли.
Я жил в деревне месяц с небольшим.
Прорехи стен латал клоками пакли.
Вслух говорил, слегка переборщил
С риторикой, как в правильном спектакле.
Двустволка опереточной длины,
Часы, кровать, единственная створка
Трюмо, в которой чуть искажены
Кровать с шарами, ходики, двустволка.
Законы жанра поприще мое.
Меня и в жар бросало и знобило,
Но драмы злополучное ружье
Висеть висит, но выстрелить забыло.
Мне ждать не внове. Есть здесь кто живой?
Побудь со мной. Поговори со мной.
Сегодня день светлее, чем вчерашний.
Белым бела вельветовая пашня.
Покурим, незнакомый человек.
Сегодня утром из дому я вышел,

Увидел снег, опешил и услышал
Хорошие слова — а вот и снег.

1978

* * *

Будет все. Охлажденная долгим трудом
Устаревает досада на бестолочь жизни,
Прожитой впопыхах и вздохе. Будет дом
Под сосновым холмом на Оке или Жиздре.
Будут клин журавлиный на юг острием,
Толчея снегопада в движении Броуна,
И окрестная прелесть в сознании моем
Накануне разлуки предстанет утроена.
Будет майская полночь. Осока и плес.
Ненароком задетая ветка остудит
Лоб жасмином. Забудется вкус черных слез,
Будет всё. Одного утешенья не будет,
Оправданья. Наступит минута, когда
Возникает вопрос, что до времени дремлет:
Пробил час уходить насовсем, но куда?
Иностранная музыка волосы треплет.
А вошедшая в обыкновение ложь
Ремесла потягается разве что астмой
Духостою. Тогда ты без стука войдешь
В пятистеночек ночлега последнего — “Здравствуй.
Узнаю тебя. Легкая воля твоя
Уводила меня, словно длань кукловода,
Из пределов сумятицы здешней в края
Тишины. Но сегодня пора на свободу.
Я любил тебя. Легкою волей твоей
На тетрадных листах, озаренных неярко,
Тарабарщина варварской жизни моей
Обрела простоту регулярного парка.
Под отрывистым ливнем лоснится скамья.
В мокрой зелени тополя тенькают птицы.
Что ж ты плачешь, веселая муза моя,
Длинноногая девочка в грубой рубахе!
Не сжимай мое сердце в горсти и прости
За оскомину долгую дружбы короткой.
Держит раковина океан взаперти,
Но пространству тесна черепная коробка!”



ИМБИОЗ

ПРЕКОИТАЛЬНОЕ

НеЗнама
Анамнез
НеМазан

ЖАЛОБЫ: “Симбиоз”. Отсутствие летального исхода.

АНАМНЕЗ:

1 сентября 1989 г., когда безумные чумазы дети возвращались из школ в изодранных в клочья чулках и фартуках, в одной из мастерских города, по коему до того носился неистовый Белинский, в коем до того настаивал свои “Мейерхольдовки” (сиречь “Золотые Петушки”) папа своего же сына Мейерхольда, внутри коего ранее крутили любовь пока еще не родители будущего диктатора, котогый хоть на том спасибо сам ни кого не годил, в непосредственной близи от коего ранее безбедно хуячил стихи Миша Лермонтов, а уж Фрейд к коему вообще на нюх не подходил, собралось некое количество мужского народу в оскорбляющем че-

ловеческое достоинство трезвом виде и создало некую группу “Эго”.

Группа изначально имела панк-романтическую окраску и вскорости породила россыпь панк-романтических же направлений: Клинический панк-романтизм (С.Вилков), Панк-романтический геронтофутуризм (Н.Буланов), Девиационный панк-романтизм (А.Рубцов), Панк-романтический похуизм (А.Рассказов — по хую —) И.Баранов), Копровизуальный романтизм (А.Царан), Нарконостальгический панк-романтизм (А.Павленков), да и хрен-то все упомянешь. Вскоре член-органам группы в ломы стало куда ходить и коммуникации меж ними перешли на качественно более высокие уровни — эпистолярный и астральный, с вкраплениями алкоментального.

Между тем местное отделение Сов.Пис. не хотело допускать панк-романтиков в свои органы и, вспомнив, что “...одной из функций головного мозга является управление полостью матки”, вычитанное в некоторой книжке, новообразование родило именуемое в дальнейшем “Симбиоз”, о необходимости которого.

Исторгнутому вскоре стало тесно в городе, по коему до того, и оно начало резко наращивать экспансию: Вологда, Душанбе, Ейск, Екатеринбург, Житомир, Курск, Москва, Пермь, Псков, Минск, Рига, Санкт-Петербург, Саратов и аш до самых США.

ОБЪЕКТИВНО:

8 номеров. 100-150 страниц. Тираж до 50 экз. Живет и размножается, как попало и аperiодично.

АНАЛИЗ:

Машинопись. Графика, Репродукции. Фотографии, Ксерокс. Принтер.

ДИАГНОЗ:

Визуальная поэзия, конкретная поэзия, стёб, авангард вооще, соцарт, концептуальные дела, трансфутуризм, панк-романтизм прежде всего, разная пурга.

ЭПИКРИЗ:

“Анамнез”

“Стационар”: И.Баранов, Н.Буланов, В.Вакуленко, С.Вилков, М.Копьев, А.Павленко, А.Попов, А.Рассказов, А.Рубцов, Ю.Чернов;

“Амбулатория”: К.Андреев, А.Березайтес, Б.Беркович, Н.Горланова, Д.Григорьев, Н.Искренко, К.И.Н., А.Козлов, Ю.Корягин, Н.Кузнецова, А.Левин, И.Малякин, С.Минтаиров, Д.А.Пригов, Б.Пузыно, Е.Разумов, Дж.Сальников, В.Сингл, Т.Собакин;

“Реанимация”: Ян Сатуновский, З.Фрейд;

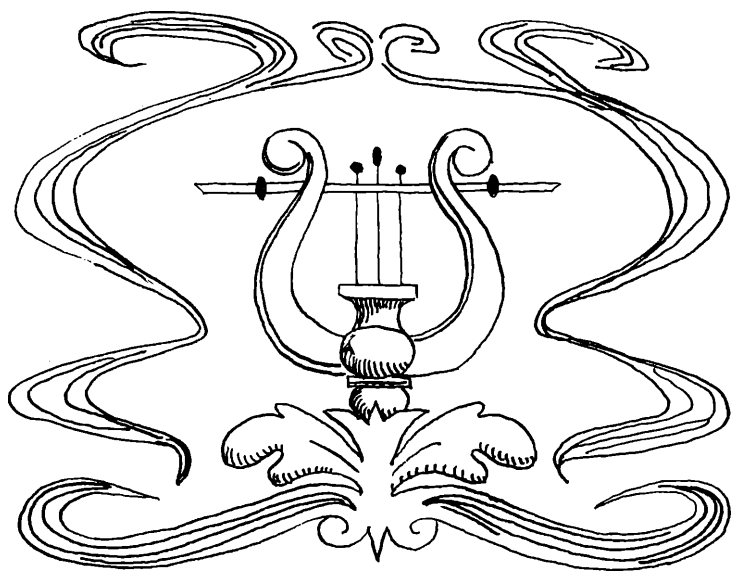
“Регистратура”: О.Асиновский, И.Бахтерев, Ж.Блэн, И.Гинзбург, К.Глюк, П.Гарнье, Вен.Ерофеев, Г.Кацов, Р.Крозир, Р.Лойдел, А.Локшин, В.Малишкевич, В.Страйбер;

“Трансплантация”: Ры Никонова, С.Сигей.

ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:

“Переднегрудь вытянута и изогнута, наподобие шеи и верблюда”.

Андрей РУБЦОВ



* * *

Живя в огромном человечнике,
Живя в громадном человечнике,
Я открываю лишь америки
В глобальном неком поперечнике.

Живя в гигантском людоеднике,
В люциферийском людужорнике,
Я тоже в фартуке-переднике
Посильно функцию позоную

Тщусь выполнить без угрызения
Своей локальной исключительности,
Не ощущая омерзения
К отдельно выделенной личности.

Лишь в целях самосохранения,
Лишь в целях личной демократии
Способствую захоронению
Себеподобной в чем-то братии.

ГЛАВНАЯ МИРОВАЯ

Всемирная Война между полами,
Бескровная отчасти и почти,
Ведущаяся голыми руками,
Тела и части их — разящие мечи.

Немола polegло на поле брани,
Но еще больше борется в плену.
Международная война между полами
Включает Партизанскую Войну.

Победы переменны и локальны.
Есть перемирия, но в этом нет беды —
Они не долго, да и тем похвальны,
Что пополняют воинов ряды.

3.04.89

* * *

Девочка.
Подросток.
Женщина.
Ветеран.
Развалина.
Материя.

26.04.89

МАЛЕНЬКАЯ ДРЯНЬ

Маленькая дрянь на все доброе реагировала без промедлений: если вы ее целовали, она прокусывала вам губу; если вы давали ей деньги, она плевала вам в лицо; обнимали спереди — была коленкой в пах, обнимали сзади — была туда же каблуком. Если вы её угощали чаем или кофе, она выплескивала предложенное на вас, норовя попасть в глаза. Если вы ставили на стол бутылку водки, она выпивала ее сразу и всю. Стоило вам уступить ей место — она начинала поливать вас отборной бранью. Когда ее били, она радостно смеялась, охотно подставляя под удары многочисленные части своего небольшого тела. Всё это сводило с ума мужчин и осуждалось предыдущими поколениями.

12.03.89

РОДЫ

Седьмые роды у Клавдии Васильевны Обпол проходили легче, чем пятые, во время которых она ослепла, и гораздо легче, чем третьи, после которых у нее наступил паралич нижних конечностей, и никак эти роды нельзя было сравнить с родами четвертыми, во время коих она лишилась рук. Были эти роды и легче вторых, когда у нее лишь сломалась левая шейка бедра и даже первых, при которых (смешно вспоминать!) у нее просто порвалась промежность, которая, впрочем, так и не срослась. Эти роды проходили несоизмеримо приятнее шестых, когда она начисто лишилась рассудка. Клавдия Васильевна Обпол рожала легко, ни на миг не прекращая заразительного переливчатого хохота, и нисколько не заинтересовалась показанным ей мохнатым зеленым уродцем, который сразу же принялся ржать не менее заразительно.

25.11.88

ИСТОРИЯ

Двое влюбленных обнявшись стояли на площади. Юноша беспрерывно целовал девушку, а та млела, прикрыв веки. Неизвестно откуда появился энергичный мужчина и стал ходить вокруг них, неуклонно наращивая темп. Через некоторое время у юноши закружилась голова, ноги его подкосились, он гулко упал затылком на асфальт и затих. Девушка, почувствовав, что что-то изменилось, открыла глаза. Энергичный мужчина кружил вокруг с непостижимой скоростью. Не сумев разобраться в чем дело, девушка сошла с ума. Энергичный мужчина остановился, взял ее под руку и повел прочь. Но тут к ним подлетела еще более энергичная женщина с туплей в руке, коротко ударила спятившую каблуком точно в темечко, констатировала падение и потащила за собой ранее энергичного мужчину, туго намотав на руку его галстук и надевая по дороге туплю. Но тут возопила сирена, из-за поворота, визжа тормозами, вырвалась машина “скорой помощи” и сшибла обоих. От толчка водитель вылетел сквозь осыпающееся лобовое стекло и угодил в столб, который упал на успевшего свистнуть милиционера. Подбежавший наряд открыл стрельбу и скоро изничтожил себя и бригаду “скорой”. На грохот выстрелов примчался военизированный дивизион, размахивая дубинками. Невесть откуда появившийся народ испугался, стал кидаться камнями и строить баррикады. Появились танки. Началась гражданская война, которая довольно быстро переросла в мировую. Через некоторое время осталась лишь группа бомжей, принимавшая все это за облаву, и несколько серых крыс. Позже началось Возрождение.

5.04.89

Дмитрий Александрович ПРИГОВ

Из сборника “СТИХ КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ”

(Москва, 1985)

8361 Сидит корейка
 И ест корейку

 Сидит грузинка
 И ест грудинку

 Сидит индейка
 И ест индейку

Сидит корейка
И ест индейку
Сидит индейка
И ест грудинку
Сидит грузинка
И ест корейку
Сидит армянка
И ест грузинку
Сидит японка
И ест вьетнамку
Сидят американцы
И негров едят
И афганцев едят
И кубинцев едят
И русских едят
И немцев едят
И палестинцев едят

И американцев едят
И всех всех прочих едят
Лишь я один сижу голодный
И неухоженный как зверь
И ты, кто Господу угодный
Бери меня, я твой теперь

- 8370 Когда страна точила когти
 О мою детскую кровать -
 Я мал был, но умел понять
 От детского малого ногтя
 Что жизнь дается один раз
 Уж лучше выжить в этот раз
 И выжил
- 8374 Детей безумных народили
 Все прочее забмя забыли
- А что в них, в детях-то, скажи
 Такого — может вся их жизнь
 Двух слов не стоит
- 8383 Слышу что-то вроде стука
 Подхожу к входной двери:
 Эй, ты кто там, падла-сука!
 Отвечает: Отвори!
 Отворяю — никого

- Слышу: кто-то там в окно
Стучится вроде
Отворяю — и вправду: сука
- 8385 То вдруг проскачут на коне
И звуки дикие несутся
А то кричат: ко мне! Ко мне!
Куда ко мне? зачем ко мне?
А я сижу на этаже
И вдруг подумалось: Да это же
Жизнь, наверное.
- 8406 Мысли мне на ум пришедшие
И отшедши от ума
Или самая сама
Мысль не то чтоб сумасшедшая
Но сошедшая с ума
Моего и в жизнь ушедшая
Что ты бледная и где
Маешься среди людей
И меня позоришь
- 8408 Под нас копает сила неба
Рукой нас хочет подцепить
И к черту выбросить, едрить
Как-будто здесь и дух наш не был —
Несправедливость историцкая
Но сила тайная ебитская
За нас
- 8410 Вот жизнь захочет нас позвать
Безумным гласом импрьялизма:
Ко мне, мой князь социализма!
А мы ответим: Твою мать!
Какой Орфей наличный вспять
Без мирового катаклизма
С Эвредикой вернуться может?
- 8420 Намного жизнь была спокойней
В прекрасны стары времена
Вставляли ногу в стремя
А сами вроде бы спокойны
А ножичком однако ж тронь
И сразу кровь, и стон, и вонь
Ужасная

- 8463 Морозный воздух вдруг расширился
И стало ясно, что туда
Поместится вот без труда
Такое же вот государство
Но снова сжался в наш объем
И вот, пожалуйста — живем
В единственно возможном Государстве
- 8466 Какую б песню завести
Каким таким макаром смелым
Чтоб выглядело — вроде, дело
А в то же время — вроде, стих
А в то же время — вроде, сталь
Зажатая в железной пясти
А в то же время — вроде: Здравствуйте
За что? Ведь это просто стих —
В случае чего
- 8476 Вроде, жизнь монолитна как встарь
Но к окраинам расплывается
Генеральный — таки Секретарь
Что он сделает, как ни пытается
С этим подлым окраинным людом
С этой блядью и с этим удом
Самовольно раскачивающимся
- 8479 Ведь вот у нас — сплошная благодать
По улицам не бегают-стреляют
Кто ж подозрителен, едри их в душу мать
Милиционер документ проверяет
Так остановит где-нибудь в метро
Заглянет в душу пристально — сурово:
Что, брат убийца, где твоя прописка? —
И у того преступное нутро
Пылает уже
- 8486 Повысятся цены на бензин
А мне что? — я на нем не езжу
Повысят цену на одежду
Ну что же, выход знать один —
Одеть одежды подороже
И словно знатный господин
Какой
Прокаживаться

- 8488 Темя жизненные множатся
Правда вот и уменьшаются
Скажем, новый появляется
Зато старый в землю ложится
- А поэту трудно в мире
Он привязчивый, поэт
Только вот настроит лиру
А предмета уже нет —
Опять перестраивай
- 8489 Я хотел бы быть девицей
Тихой прелести исполнен
Чтоб неведомо томиться
Грудью мягкой и полной
- Иль в саду сидеть за книгой
Под российски небесами
Что такой поэт как Пригов
Что-нибудь да написал бы
Такое
Про меня
Неприличное
- 8496 Вот он один уже остался
Не лицемер и не ханжа
Большой албанец — Энвер Ходжа
Не знаю, может, и ханжа
Да вот ведь — уж один остался
Все вымерли да и зарыты
И Сталин наш и маршал Тито
И Мао, Берия вымер, и Ракоши вымер, и Новотный
вымер, и Георгиу-Деж, и Вилко Червинков, и Хо Ши
Мин, и Чойбалсан вымер, и Готвальд вымер, и Терез,
Тальятти, Аидит, вот правда, КимИр Сен еще не вымер,
а Ходжа Энвер-то — тоже вымер
- 8497 Когда здесь немец пер на нас
И гибли лучшие из нас
В Бразилии какой сидела
Вроде меня какая сука
И говорила: что за мука!
Стих не выходит! — эко дело:

Стих у нее не выходит

У суки

Опомнись! Открой глаза свои,гноем заплывшие! —
вон, война между Ираном и Ираком пятый год длится!
Тысячи безумцев гибнут безвозвратно или через подвиг
своей святой прямо в рай гуриеобильный колоннами шес-
твуют а ты — стих не выходит, сука!

- 8514 Когда бы, скажем, разрешили
 Что можно вот немывтым жить
 Тем самым больше думать, или
 Животных больше вот любить
 А то живешь как бедный мытарь —
 Все моешься, а то немывтым —
 Какая прелесть
- 8515 О чем это жизнь восклицает
 На русском прямом языке
 Она это нас выкликает:
 А ну, выходи налегке
 На некое тайное, блядь
 Потому и на русском языке
 Другим чтоб не понять
 И не примазаться
- 8516 Усыновила нас Советскья власть
 И все дала — и жизнь, и смысл, и силу
 И говорит так ласково несильно:
 Живи, сынок, и в это всё не влазь
 Оставь это мне
 Ведь на то я и власть

Николай БУЛАНОВ

ЧЕРНЫЙ ВЕНЧИК

1

Понята самая малость всего:
Истина и стена:
Сторож глядит голодной совой,
С клюва течет слюна.
В тень микромира уйти слабо,

Мокрым босым по утру,
Не удастся слиться с толпой.
Знания втерты в кору.

2

Знания втерты под корни волос,
Чтобы летать не сметь.
Красный квадрат среди черных полос.
Муть. Мать. Медь.
Крадучись можно добраться к добру,
Взять угольков совок.
Красные знания втерты в кору,
Глубже блестит плевок.

3

Глубже блестит откровенный плевок,
Этот колодец без дна.
Стены окрашены в цвет половой,
Грош этой краске цена.
Каждый чужой попадает в прицел.
Лезь в свою конуру!
Цепь недовольных по поводу цен.
Снова не ко двору.

4

Снова не ко двору мы с тобой,
Снова шлагбаум закрыт.
Словно забились в глубокий забой
Без огонька и махры.
Темени тенор. Комар. Кимарнул.
Должен ли здесь быть и я?
Заперты двери, дворы и стул.
Ноет нить бытия.

5

Нить бытия продолжает нить.
Каждому свой кусок.
Прыть порождает желание плыть
К ящику из досок.
Брешет наш боцман, что в трюме брешь,
Нет ни трюмов, ни рожна.
Ложь осторожно начешет плешь.
Строить. Стрелять. Страна.

6

Строить. Стрелять. Страна. Сторона.
 Перестрелка в строю.
 В городе молот. В селе борона.
 Встрял. Встал. Стою.
 Ос буридановых рой налетел.
 Выбор диктует быт.
 Стойкость в строю имеет предел.
 Надо ли надолбом быть?

7

Надо ли надолго надолбом быть,
 Будучи комаром?
 Ползать избитым в изгибах избы.
 Хмырь. Хмарь. Геморрой.
 Утро несет близорукий закат.
 Шора ночи черна.
 Бог нас забыл. Перестали икать.
 Надо ли быть, старина?

8

Надо ли быть, старина, для того,
 Чтобы набить живот
 И, приседаю, удобрить того.
 Кто и так не живет?
 Сметь смерить смерть и смириться с ней,
 Как с победившим врагом.
 Черный квадрат оказался сильней.
 Понята малость всего.

9

Понята самая малость всего,
 Знания втерты в кору.
 Глубже блестит кровавый плевок.
 Снова не ко двору.
 Нить бытия продолжает нить.
 Строить. Стрелять. Страна.
 Надо ли надолго надолбом быть?
 Надо ли быть, старина?

* * *

два трактора в трактуре
трактуют за любовь
он ф семенах почил о жире
и грохот чаши грохочащит слаще
доит корову многочленну
разрезом естества баба сокровенна
своих грудочервей в лоханскую отёл влачаща
роят овец невольники авечности сидящи
за миской будущего кала
куда работных рож щека стекала
стекольники луниры-нюры
аннексия дзотических стреляний — чабанюра

* * *

цаиды авры
раз лез литы
раз замри гре грёз
умцы умцы — о ги
гиблиты стонц снуоз
одри
о дрё
ам цих селеное
ам цих лирейя
канцо сумцарь
эриты танц ли задь
абтерь
их нем хвеночеч сумзлелерь
аргазь
о цэрц — зарцэль и эя — сумелья ца

* * *

лодка одка медлежная
ходка лодки водежная
плуншая ой ли
пленная дай ли

ЛУНАРНАЛИИ

1

двунокие в ночь втыкают ноги
объевшись паром плечности другдругной
парчова парочка приперчена губуем
он плачимо он взывно
дуревья пропросты и ложны
на лоеже любовном у челдобречков
облунна луночь
лунебряны и пряны луноёзда звёзд
лунебо луниазменно сигодня

2

звездочень луночень
тело мое лунебренно
тлелунно
даже мое нёбо лунебно
для губ поцелунно

* * *

луночь сверкает
где авель каинает
рука усталые уста
до от края листа
пером канает

* * *

мрачный мра
мрачный чный
велизны друг
велиры дрок
расцвел ли куст полыни дров?
кто кудесника покрал
покрасил ейском?
из-за ейска пыльны пенны
гореливы розы верны

* * *

в хоры
строй миноры
лод живучий ка
норка бегущая рканно
цианно мианно
мипан лиан виан буян
бюст плюст ласт
сигей сугест

* * *

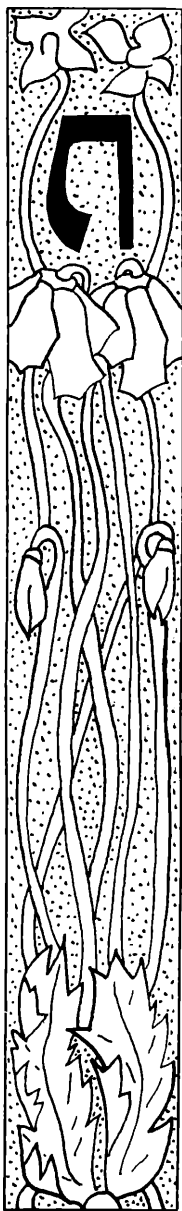
лунул лунязь луночра
улуналь
ранечра
чо? Бочка

* * *

семь губ и те принцуть бы
сам губишь принцу судьбы
звездой доить вязанку грудей
весь бой поить лизанку самку
кочуй чудовище до вещи
вопизна знака
плетенит смака

* * *

овейя губ
склонимб
навьлоктив
крикслонила попоны духа
монеты брюха разсоплив
кричу: лирейя
гдебень
мне подай
для расчесать кустебень
в темень скрыв
сосца висок
тудь забежала
цацалья — злючка бря



РИЛОЖЕНИЕ К

Журнал “Приложение к” я случайно нашел в библиотеке “Гуманитарного Фонда”. Где-то в углу шкафа сиротливо пылился один-единственный номер. Никто не смог мне объяснить, откуда он взялся, кто редактор или составитель, существуют ли другие номера и к чему он приложение. Несмотря на это, я решил предложить в альманах “Индекс” некоторые материалы из журнала “Приложение к”. Вскоре после этого единственный номер журнала исчез.

А.Н.



Евгений БУНИМОВИЧ

* * *

когда б мой дом стоял среди холмов
и мой баркас стоял среди озер
и мой вопрос стоял в повестке дня

когда бы мой всегда стоял везде
и я тогда стоял бы на своем

1990

СПИД

группа захвата ворвется резко
группа поддержки свистнет в такт
группа экспертов и группа риска
ровно в полночь вступят в контакт

группа войск усмехнется криво
группа X обнаружит труп
диагностировать группу крови
встанут члены рабочих групп

сменит знамёна знаменная группа
группа врачей опознает: наш
группа товарищей встанет у гроба
группа шопенов исполнит марш

ИЗ ДРЕВНЕРИМСКОЙ ТЕТРАДИ

*ауе пленум
как там твой паноптикум*

*ауе цезарь
где же твой партмаксимум*

*ауе это
двигатели перестуум*

жизнь прошла
нас выбрали в президиум

гул затих
мы вышли на просцениум

что сказать
переходя в континуум

1990

ПАМЯТИ ОДНОГО ИЗ

1

Всё потому,
что возник не в пробирке.

Самостоятельно вышел на связь.

Номер и серию паспортной бирки
не полюбил отродясь.

Всё потому,
что похоже — на спор,
в боеготовности №1
знаменовал, что не только паспорт
можно достать из широких штанин.

Всё потому,
что, уже затухая,
с кем-то сложил колебанья в ночи...

Что ему т а м ,
где кричи — не кричи —
ни командарма,
ни вертухая...

2

Тихо шизел в типовой застройке.

Век отмерял в человеко-днях.

Женщин любил в человеко-койке,
путая метки на простынях.

Шёл в сторожа,
попадал в хлопкоробы,
падал в сугроб по команде ЛОЖИСЬ!

... только не спрашивал нас —
с кого бы
делать свою человеко-жизнь.

* * *

Не надо.
мы не на параде.
Мы проиграли в айлавью...

Об остальном сказал Саади
в последнем телеинтервью.

Любовники!
Смените позы.
Поэты!
Слушайте сюда.

Есть процедурные вопросы
по ходу страшного суда.

На беспартийном суахили
умея высказаться вслух,
мы выжили в года бухие
в империи народных слуг.

Всесильно, потому что ложно
ученье с кайфом на дому,

и невозможное — возможно
когда не нужно никому.

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

твои черные окна опять озаряет не мысль
но салюты
в ожидании твердой руки засыпает седой
активист
с комсомольской улыбкой Малюты
засыпает Джоконда с улыбкой в зубах
в ожидании твердой валюты

ЗАЛ ОЖИДАНИЙ

голос за сценой
букет в неумытой бутылке кефира
в ожидании виз

спят с надеждой в глазах прихожане ОВИРа
в положении риз
вяжут шведское лыко с японским
сторонники мира

ЭРЦГЕРЦОГА ФЕРДИНАНДА НА ПОЛПУТИ В САРАЕВО
ОЖИДАЕТ ПОЭТ А А И ЧЕРНАЯ ДЫРА ЕГО

по требованию бастующих шахтеров
звучит концерт Кара-Караева

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

мальчик в ожидании
одноразовых шприцев
девочки в ожидании
одноразовых принцев

несовместное предприятие
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО
к услугам ожидающих
МНОГОРАЗОВЫЙ ШНИЦЕЛЬ

мафиози с усами
у платного туалета
под неоновым Ж
вас ожидает вендетта

глаз не смыкает ЛИТВА в ожидании суверенитета

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

принц-неформал
в ожидании друга Горацио
президент-самопал
в ожидании инаугурации
король поэтов
в ожидании денатурации

А ТАКЖЕ

читателя
советчика
антисоветчика
зенитчика
ракетчика
врача

стукача
комитетчика
бича
аппаратчика
ответчика
автоответчика
истца

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

лицом
к лицу
лица

ПО ДОРОГЕ В КАЗАНЬ

В первое лето после школы у нас в квартире появился татарин, высокий мужик с темным взглядом. Мать вошла в мою комнату и сказала:

— Вот так. Теперь он будет жить у нас. — Немного помолчала, добавила, — Со мной. Будешь выкидывать фокусы — уши оборву.

По утрам татарин подолгу сидел на унитазе, пел заунывные татарские песни, и мне безумно хотелось в туалет. Расхаживал по коридору, щёлкая резинкой от трусов по своему животу, и на покатых плечах у него вился густой черный пух. Смотрел за завтраком в окно, косил на меня недобрый восточным глазом и говорил:

— Тебе, дочк, замуж пора. На кой тебе дома сидеть? Устраивайся на работу, там себе и мужика подыщешь.

Школьная любовь Серёжа перестал заходить: пугался незнакомого сильного мужчины, караулил ночью мое окно и свистел переливчатым свистом. Я не реагировала. Ещё когда мы учились вместе, Серёжа часто бывал у нас. Однажды принес бутылку сухого, мы долго сидели молча. Наконец он завалил меня на кровать, налег сверху и начал слюнявить ухо. Я лежала неподвижно. Ни он, ни я толком не знали, что надо было делать. Наконец мать подняла его с меня за воротник, довела до входной двери и молча поддала коленом. Он ушёл в носках, мать крикнула в ночную форточку, чтобы он прихватил свои туфли, и швырнула их туда же. Туфли на следующее утро подобрал дворник, и потом, когда я проходила мимо него и мой взгляд останавливался на его ногах, мне казалось, что наш двор метет Серёжа. А после того, как мать его выгнала, она усадила меня напротив, зло посмотрела в глаза и сказала:

— Дура ты. Нужно придержать себя до более подходящего момента. Надеюсь, у вас ничего не случилось?

— Ну мама, — ответила я.

— Ладно, всё в порядке, — сказала она и вышла из комнаты.

Устроилась на работу в продовольственный магазин №31, где в штучном отделе торговала мать. На жизнь нам хватало, прилично помогал и татарин — в наших местах он шабашил в пригородном совхозе, строил свинарник. Сам же был из Казани. Серёжа всё ещё приходил по вечерам, его тонкий силуэт казался вырезанным из черной бумаги на фоне лунного асфальта. В магазине работала уборщицей, и когда наклонялась над ведром, меня тошнило. Когда разгибалась с мокрой тряпкой, сзади иногда подбегал грузчик Витька и шутя жался горячим бугристым телом к ягодицам. Била тряпкой по красной морде, он же хохотал и шатко отваливал прочь. Татарин мать не бил, но почти и не разговаривал с ней — лишь по ночам в их комнате тяжело скрипела кровать и слышались долгие приглушенные стоны. Я металась под влажным одеялом,

мне хотелось забежать к ним и остановить эти звуки. Но по утрам я видела лучистые материны глаза — никогда за время жизни со мной она не была такой счастливой. От моего отца не осталось даже алиментов. Когда я спрашивала мать, что он, она насмешливо смотрела на меня и отвечала, что забыла. Просто мужчина. И все. Жили мы только вдвоем, с тех самых пор, как я могу себя вспомнить. Зарплата у матери была маленькая, но есть всегда хватало. Раза два её лишали права торговать за обвсс и переводили в фасовщицы. Отработав год или полтора, она вновь становилась за весы, и тогда нам было сытнее, появлялись апельсины на праздники и зефир.

Особенно не разговаривали друг м другом, старались не мешать жить. Мать уходила на работу, когда я ещё спала, и возвращалась к девяти вечера. После школы я долгими часами рассматривала улицу и давила оконных мух. И, наконец, появился татарин — первый мужчина матери, — по крайней мере, никого другого я у неё больше не замечала. Этот мужчина однажды зашел в мою комнату с шоколадкой, поднес её на закорузлой ладони к самому моему лицу, и, смущаясь и бычась, проговорил:

— Я те, дочк, вот что скажу. Человек я вдовый, жизненный мой путь завершается к концу. Ты, дочка, уже не девочка, жить сможешь сама. Не паразит я какой, дело говорю. Трудно будет — всегда помогу, деньгами, советами ли. Так что беру я твою мать. Жить остаешься одна.

Я засмеялась, взяла шоколадку и сказала ему:

— Ты бы ещё куклу принес. Тоже мне. Жених.

Татарин обиделся, но быстро отошёл, поняв, что я согласна. Ночью мать в халате на голое тело вошла в мою комнату, медленно опустилась на край кровати. Она нагнулась и молча поцеловала меня. Я не помнила, чтобы она когда-то целовала меня ещё. Её глаза в темноте странно блестели.

— Хватит тебе в магазине полы мыть, — хрипло сказала она. — Я уезжаю, вместе с ним. Тебе жизнь устрою, не волнуйся. Но только прошу — выкинь из головы этого Серёжу. Завтра пойдешь в редакцию газеты, есть там такой Игорь Алексеевич. Скажешь, пришла устраиваться на работу. Вот тебе и место. Его уже предупредили. Ты чего ревёшь, дура? Ладно тебе, упокойся, успокойся.

На утро на троллейбусной остановке я встретила Серёжу.

— Может смотаемся вечером в кино? — беззаботно спросил он. Но губы у него дрожали. Лицо в прямом солнечном свете казалось неестественно четким.

— Слушай, топай один. И вообще, всегда будь один, если кроме меня тебе ничего не нужно. Соп... — сказала я и добавила через секунду: — ...ляк.

Он не попал в троллейбус, хотя народу было не слишком — сделал вид, что зазевался. Двери захлопнулись перед самым его носом. У редакции я вспомнила, что мать слишком уж тщательно одевала меня —

проверяла белье, своими мягкими пальцами сама накладывала тени. Вахтеру я сказала, что мне к Игорь Алексеевичу. Его сонные глаза ожили, он сообщил комнату. Восьмой этаж. Я вошла без стука в тамбур, из которого вели две двери. Дермантин и медные заклепки. В зеркале увидела себя, шов юбки сдвинулся и я быстро привела все в норму. На табличке одной из дверей прочитала нужные инициалы и нажала ручку. Он сидел в конце кабинета, за столом, невыразительно смотря на дверь — будто ожидал меня. Лет тридцать пять; синие от бритвы щеки, широкие плечи.

Он поднялся из кресла и я увидела, что он гораздо выше меня. Летнее небо за оконными стеклами казалось выкрашенным голубой гуашью.

— Я пришла узнать насчет работы.

Несколько секунд он не отвечал, неторопливо рассматривая меня. Наконец положил на стол лист бумаги, усел меня на стул и продиктовал, что писать. Когда я дописывала последние слова, он уже запирает дверь. Только тут я заметила коричневый диван, широкий, сверкающей кожи. Игорь Алексеевич не отходил от двери, будто прислушивался, и опасливо смотрел на меня. Я расстегнула верхнюю пуговицу блузки. Игорь Алексеевич криво улыбнулся, и от улыбки лицо съехало в сторону — я увидела, что он сильно побледнел. Потом он сел за стол, и, когда я одевалась, подписал заявление.

— Послезавтра к девяти часам в отдел культуры, — отрывисто сказал он мне в спину, когда я была уже у самой двери. — Младший редактор.

На улице я вдруг расхохоталась, испугав старуху, катившую коляску с пустыми бутылками. Старуха метнулась в сторону, её бутылки бесстыже загрохотали и она прокаркала, хрипло и по-вороньи:

— В вытрезвитель тебя, стерву!..

Я шаталась по городу, заходила в кафе, где продавали кофе из кофейной гущи, бродила по парку вокруг летней пивнушки, где сизолицые мужчины лили в себя пиво, и гуашевое небо постепенно наливалось цветом и влажнело, набирая вечернюю мощь, вдоль улиц заглялись невидимые ещё в светлом воздухе фонари и наступил вечер. Дверь открыла мать, в светлом, ненадёванном ещё платье, из-за её спины неслись голоса мужчин и женщин, стеклянный звон и шип радиолы “Ригонда”.

— Ну вот, — она была пьяна, — иди поешь. Завтра мы уезжаем.

Во главе стола со стопкой в руке находился татарин, красный и потный, по краям — наверное, вся татарская бригада вперемежку с возбужденными женщинами, молодыми и старыми — гудели голосами, звенели ножами и вилками, с шумом жевали и глотали из стопок в один глоток. От такого количества неизвестных лиц в глазах у меня взбухли красные пятна, я развернулась и убежала в свою комнату. Лежала лицом вниз, измазав подушку косметикой. Мать присела на кровать — я

не поднимала головы, — знала, что она. Наконец она опустила ладонь мне на спину:

— Ты не плачешь?

— Нет.

— Ну, не дуй губы. Что теперь делать. Не я и не ты это придумали.

Я не отвечала. Ведь мать знала заранее, для чего собирает меня утром. Посмотрела на неё, ей будто бы было не по себе — глаза жалко смотрели в сторону. Она вдруг прижалась ко мне, задышала пьяным воздухом в мой рот:

— Слышишь? Никогда нельзя любить. Просто так. Нужно знать, как любить и для чего любить...

Я ударила её кулаком в голову, её лицо запрокинулось и на секунду блеснули сильно раскрытые глаза. Захотелось ударить ещё раз, сильнее, жестче — но она сидела неподвижно, с опущенными веками, будто ожидая моей руки. Я повернулась так, что ей пришлось встать с кровати. Она долго медлила перед тем, как выйти, но я так ничего и не сказала. Ночью, когда я уже засыпала, то услышала свист — не задумываясь схватила с тумбочки флакон огуречного лосьона и швырнула его в окно. Был резкий, стеклянный звон: потом медленные шаги в темноту и тишину, все дальше и все тише. И мне приснился татарин в черном пуху, голый и с сизыми пьяными глазами — он сидит в длинном коридоре за столом в кресле, отставив в сторону руку со стопкой в один глоток — я же вхожу в этот кабинет и неуверенными шагами приближаюсь к татарину, и нет никаких сил развернуться и убежать.

Утром, когда они собрались, получилось два материнских чемодана и татарский рюкзак. Во дворе появился “москвич” пятидесятых годов — серый, с волнистым туловищем. Я молча стояла у подъезда, татарин укладывал вещи на заднее сиденье, мать же была рядом со мной — она смотрела в сторону.

— Ну, дочк, жди телеграмму, — сказал татарин, улыбувшись одними похмельными глазами. — В Казани будешь, жениха найду. Батыра.

Мать казалась очень старой, будто бы ссутулившейся.

— Холодильник размораживай, — сказала она и пошла к машине.

Села на переднее сиденье, и ни разу, даже когда машина выезжала со двора, не посмотрела в мою сторону. Утро было безветренным, и фиолетовая дымка выхлопа ещё долго стояла в воздухе. Я вымыла посуду после вчерашних гостей. В обеих комнатах лежала непривычная тишина. Вечером позвонил Сергей:

— Привет. Слышал, будто ты осталась одна.

— Ну и что из этого?

Он положил трубку. На следующий день явился участковый, молча прошел в кухню, сел и налил из заварочного чайника в кружку. Глаза у него были усталые и неприятные. Когда он все рассказал, мы на мотоцикле поехали в морг. Меня поразил странный тут запах импортных си-

гарет — широкоплечий парень привычно отдергивал простыни, не вынимая окурка из губ. Татарина узнать было можно, мать — с трудом. Они успели отъехать от города километров на пятьдесят. Позвонила на работу, дала телеграмму в Казань. Нужны были деньги, но выручил милиционер — отдал те, что нашли при татарине. Ночью не снилось ничего — будто кто прижал подушку к лицу и я задохнулась. Помню только то, что под окном никто не свистел, что было тихо и покойно, и тюль едва шевелился от теплого воздуха из распахнутого окна. К обеду объявились казанские родственники, шумные и многочисленные, очень быстро оформили все дела, деловито запаковали татарина в гроб и увезли. Какой-то мужчина — брат ли, сын татарина? — сказал мне на прощанье:

— Э-эх... говорили ему, сиди дома. Связался с сучками.

И мы опять остались с матерью вдвоем — в разных комнатах. Теперь она лежала на столе, покрытая простынею, и мне страшно было поднимать её — о том, что это была моя мать, я могла догадываться только по очертаниям тела. Хоронить было некому, поэтому пришлось бежать в магазин. Сняли с работы троих — Витьку, мясника и одного нового грузчика, которого я не знала. Пришел помочь Серёжа. Тот, которого я не знала, после того, как погрузили гроб, посмотрел на меня веселым глазом и шепнул:

— Ну что, хозяйка, поставишь после процедуры?

Витька перехватил его взгляд, сделал кулак и просипел:

— Я те, гнида, вставлю.

На кладбище гроб неожиданно выскользнул из веревок и встал в земной щели вертикально. Землекоп в майке длинно выматерился и принялся с напарником вытягивать его обратно — опустить ещё раз.

— Ты что не плачешь? — спросил Серёжа.

Могилы вокруг были свежими, ещё без памятников, усыпанные жухлыми цветами и обложенные проволочными скелетами венков. Солнце висело над головой как тусклая пыльная лампа. Крутило живот и струйки пота ползли по спине и между грудями. После похорон мы сидели вечером на кухне вдвоем с Серёжей, разделенные бутылём водки, тарелками с остатками засохшей закуски ещё со свадьбы матери. Пел невидимый комар. В квадрате чёрного неба в окне не было видно звезд.

— Постарайся всё поскорее забыть, — сказал Серёжа. — Ты не слушай мою чепуху. Я не знаю, что тебе сказать. Сама понимаешь, трудно что-то сказать. Придумай себе, что она на самом деле добралась до Казани, и что у неё сейчас там все хорошо. А того времени, что прошло после её отъезда, попросту нет. Он неловко и долго надевал туфли перед уходом. Я стояла рядом и смотрела на его ровно подстриженный затылок и розовые уши. Он захотел что-то сказать, уже от открытой двери, но его лицо было таким жалким, что я отвела глаза. Он не сказал ничего. Когда он сделал несколько шагов по коридору, я остановила его:

— Серёжа. Если хочешь, можешь остаться у меня.

Он испуганно обернулся и пробормотал:

— Ведь у тебя... мать умерла... Ведь мы же только сегодня её похоронили.

Я захлопнула дверь так, что откуда-то сверху свалился таракан. Сдёрнула чёрный платок с зеркала в своей комнате, посмотрела на себя. На секунду показалось, что отражения нет — но сделала над собой усилие и встретила с собой глазами. Лицо было знакомо. За окном, очень далеко, в фонарном свете будто бы стояла неподвижная человеческая фигурка — её призрачные очертания были неестественны. Серёжа это был или нет — я разобрать не смогла. Мне вдруг стало очень смешно оттого, что я могу напугать хохотом ночных прохожих — я захохотала сквозь раскрытое окно, гулко и длинно. Но ночных прохожих не было, я захлопнула створки и, не раздеваясь, забралась под одеяло. Всю ночь, до утра, мне очень хотелось, чтобы рядом был мужчина — Серёжа. Хотелось оттрепать его за розовые уши. Розовых ушей не было. Ничего, кроме чёрного пустого прямоугольника зеркала и темноты. На другой день началась моя работа, которая была не слишком сложной — править статьи, писать их самой. Я поняла, что статьи писать не так уж трудно — стоит написать три или пять, дальше вырабатывается автоматизм. Раза два в неделю ко мне приезжал на светлом автомобиле Игорь Алексеевич, с шампанским и фруктами, мы крутили пластинки на старой радиоле, он на четвереньках носился по квартире, а я сидела на его спине, и перед его отъездом мы вдвоем плескались в ванной, переплетая ноги и улыбаясь друг другу сквозь мыльную пену. Он говорил мне, что безумно любит свою жену, я же отвечала, что обожаю шоколад. Он говорил мне, что может с ней спать только после меня — после встреч со мной в его организме происходит некое смещение, и ему кажется, что у него с женой происходит все в первый раз. Я называла его Гариком. Он смеялся, широко распахивая рот, и мне нравились его заплombированные зубы. Очевидно, так и происходит любовь. В больнице выяснилось, что анестезия меня не берет, и мне было слишком больно — я визжала, прокусывая губы. Игорь Алексеевич стал приехать реже, теперь мы молча лежали рядом, и наши бедра потели в месте соприкосновения. Он стал уставать от меня, я стала уставать от себя самой. Однажды утром я вдруг с ужасом обнаружила, что крашусь с полным безразличием. Мне показалось, что я могла бы вообще не краситься. Всю неделю писала про три наших провинциальных театра — драматический, кукольный и юного зрителя. Статьи получились похожими, а в субботу появился Игорь Алексеевич, но не один, а с зав нашего отдела Крупицким. Гарик держал в каждой руке по бутылке шампанского, Крупицкий стыдливо улыбался и из кармана его брюк торчал ствол коньячной бутылки. Я усмехнулась, и они поняли, что я обо всем догадалась. Но после первых рюмок напряжение спало. Он начал рассказывать анекдоты, которые я слышала в классе шестом — затылок его отражался в зеркале и никак не был похож на затылок Серёжи. Очень давно, — я даже не вспомню, ког-

да мать принесла из магазина коробку списанных конфет. Они были совсем свежими, и я не понимала, зачем их списали. Ели мы их целый месяц, по три раза в день, я брала их с собой в школу. Весь этот месяц я очень любила мать. Меня поражало, что этих конфет она не ест — старается накормить меня. Крупицкий же теперь был смел, горяч, жарко смотрел в мое лицо и настойчиво клал руку. Игорь Алексеевич нервно курил. Мне было смешно и безразлично. К ночи Гарик куда-то исчез, Крупицкий же все не решался. Я нарочно прилегла на кровать, чтобы ему было легче. Но он так и сидел — я казалась совсем пьяной. Наконец, когда я заснула, то почувствовала, что он лежит совсем рядом — голый, холодный и дрожащий. Попыталась ночью затащить его в ванную, но игры не получилось. — Крупицкий слишком стеснялся своего живота. Утром в воскресенье я очулась в кровати одна — бутылка коньяка стояла почему-то на полу, около шлепанцев. В груди было холодно и пусто. Я забралась под душ и долго терла тело — оно уже скрипело под теплыми струями, когда раздался телефонный звонок. Шлёпая мокрыми ногами по полу, я подошла к телефонному аппарату и подняла трубку. Сквозь помехи, сквозь миллионы километров мать сказала:

— Ну привет. Это почему от тебя нет вестей, а?

— Работа, мама, — ответила я.

Перед глазами встали внезапно вертикальный гроб и фиолетовое облако после покинувшего двор автомобиля.

— У нас с Рафиком все нормально. На заработанные деньги покупаем дом, я опять устроилась в магазин. Свекровь вредновата, ну да ладно. Вот заживем отдельно, приглашу тебя в гости. Хочешь, сама приеду на ноябрьские?

Я посмотрела за окно и внезапно увидела, что там, за стеклом, нагрянула осень. Голые деревья немо и изломано распростерли ветви, а опавшие листья не были золотыми — они казались бурями под сумрачным низким небом.

— Не надо, мама, — сказала я. — Лучше я сама.

— Ты там замуж не вышла? — спросила она. — А то ни строчки от тебя. Хоть бы написала. Мать же я тебе.

— Вышла, мама, — сказала я. — За Серёжу.

С полминуты она молчала. Потом вздохнула, тяжело и долго.

— Самой тебе решать. Знаешь же, что была против. Бабкой меня не собираешься сделать?

— Собираюсь, — сказала я. — Шестой месяц.

— Значит, не успела я уехать... Ладно, бог с тобой...

Даю трубку Рафику.

— Дочка, — сказал татарин серьезно и с расстановкой. — Мать твоя женщина основательная. Да и я ей каменная стена. Внук, говоришь? Денег пришло, сам приеду. Нравишься ты мне, дочка, мне бог детей не дал, а ты мне, ей-богу, нравишься.

— Не приезжайте, — сказала я. — Не надо...

— Как желаешь, — сказал татарин. Тут же его голос сместился и уступил место материну: — Ну ладно, пока всё. Сегодня же напиши мне письмо.

— Клади, мама, трубку, — сказала я. — Деньги идут.

— Бог с ними, с деньгами... Мне тебя не хватает. Ладно, пока. А то Рафик за локоть дергает.

Она положила трубку. Я вдруг заметила, что мне очень холодно, пошла к окну и ещё раз посмотрела на осень. Дворник с готовностью отставил метлу и принялся сосредоточенно рассматривать мою грудь. Внезапно подмигнул и показал что-то рукой. Я засмеялась — он отчего-то испугался, поспешно отвернулся и принялся размахивать нанесённые за ночь на асфальт листья. Я накинула халат и забралась с ногами на постель. Вспомнила, что Серёжа тоже ушёл из моей жизни — после похорон матери я не видела его ни разу. Может быть, на самом деле в свете фонаря стоял тогда именно он? Я до сих пор не понимаю, почему я ему ничего не крикнула. Он бы пришел. В горле было сухо, будто я попыталась съесть стакан песка. Подошла к неубранному столу, выпила из горлышка остатки шампанского. Села за пишущую машинку и медленно, буква к букве, стала выстукивать письмо в Казань:

“Мама, здравствуй. Передай привет своему татарину. Прости, что долго не писала — было некогда. Поженились с Серёжей месяца через два после твоего отъезда, я уже была беременна, так что понимаешь — выхода не было никакого. Но свадьба была неплохая, собралось человек двадцать, одноклассники и мои друзья с редакции. Игорь Алексеевич и Крупицкий. Деликатесов не было, но стол накрыли неплохой. Серёжа работает теперь на оружейном заводе, так что денег нам хватает, и передай своему татарину, чтобы предлагать не смел. Потихоньку покупаем приданное для ребенка, — говорят, что до рождения делать этого не следует, но я не верю в приметы. Господи, если бы ты знала, как нам хорошо с Сергеем! Мама, мы сейчас вспоминаем и смеёмся, как ты его за шиворот поднимала с меня. Не стоило тебе тогда этого делать, ты сейчас-то это понимаешь? Оказывается, он тогда пол-города прошагал босиком и подхватил простуду. То-то он исчез после этого случая — отлёживался в постели. Если кто родится, как назвать — не знаем. Пиши свои предложения. Ладно, кончается страница, а бумаги вокруг не вижу. Так что до свидания. Немедленно напиши ответ.”

Я схватила бутылку из-под шампанского и попыталась перелить из горла в горло. Но там ничего не было — один только кислый запах. Я дала изо всех сил бутылкой об пол, но та не разбилась — подскочила и проворно закатилась под диван. Захотелось куда-то позвонить, но набирать междугороднюю не решилась. В коридоре будто слышались шаги татарина и щелчок резинок его трусов, но я прекрасно понимала, что его там нет. После этого дня жизнь пошла несколько иначе — раз в неделю приезжал Гарик, два раза — Крупицкий. Подозреваю, что у них существовало некое джентльменское соглашение — не мешать друг дру-

гу. Мне казалось, что я люблю их обоих. Но тут в моей жизни возник некто третий — однажды после работы я почувствовала, что на меня в трамвае пристально смотрит мужчина. Без лица и внешности — запомнились только его глаза. Между остановками он подошел ко мне и сказал, что в силах остановить трамвай, выскочить наружу и вернуться назад, чтобы купить мне букет астр. Мне было все равно. Но он на самом деле подошел к кабине водителя, отодвинул дверь и что-то шепнул. Трамвай резко затормозил у того угла, где старухи на осеннем ветру продавали последние цветы этого года. Отчего-то этот мужчина остался у меня дома. Прижился. Бок его был обезображен страшным шрамом — письма от матери стали теперь приходиться регулярно, мне остался месяц до родов, — и когда я спросила, что это за шрам, он безумно расхохотался и сказал, что в молодости его подцепили на крюк. Я ничего не поняла. Больше он ничего не рассказывал про свое прошлое. Позже я узнала, что трамвайный человек работает слесарем в трамвайном парке. В выходные разъезжает с приятелем и таким образом знакомится с женщинами — объяснил, что так по крайней мере лучше, чем цеплять на улицах. Трамвайный человек привык у меня жить и даже перенес кое-какие свои вещи. Когда приезжал Крупицкий и Гарик, он сначала скрипел зубами и бил меня куда попало. Но потом нашел более легкий способ — покупал бутылку водки и выпивал один за другим два стакана. Затем выходил на улицу и сидел на лавке весь вечер, закутавшись в пальто и телогрейку. Ребенок у меня родился удачно, быстро. Оправилась после родов скоро — был всего один небольшой разрыв. Сначала мучили тягучие боли — сокращалась матка — затем и они постепенно отпустили и я пришла в норму. С трамвайным человеком мне было легко — он не мешал, молчал долгими вечерами, и я знала, что внутри у него все клокочет от ненависти ко мне — но он приучился не замечать посещений моих друзей из редакции, по крайней мере не подавал виду. Мне было очень обидно, что про моего мальчика никто вокруг не знает, кроме меня, матери и казанских родственников. Письма от матери я сжигала. Однажды пришла посылка. Когда я вскрыла фанерный ящик, то увидела детские вещи — ползунки, распашонки, несколько чепчиков. Вытащила из кладовки металлический таз, сложила вещи в него. В этот момент трамвайный человек открыл ключом и вошел. Глаза у него были все такими же — ясными и внимательными, — но я заметила, что он смотрит не на меня, а на таз с детским бельем в центре кухни. Наконец он вздохнул и улыбнулся:

— Вот как... значит, ты решилась. По совести, мне давно этого хотелось. И я чувствовал, что тебе тоже хочется жить, как все люди.

— Я чувствую, что мне очень хочется выгнать тебя вон, — ответила я.

Он скривился, глянул исподлобья:

— Зачем же тогда детские вещи?

— Выйди из кухни.

— Мне это надоело, — сказал он очень сухим голосом. — Ты знаешь, я всегда готов начать. Стоит тебе только намекнуть. Мне надоело беситься на подъездной лавке — ведь водка не берет, ты это понимаешь? Я могу ничего не замечать. Но я не могу больше так жить.

— Выйди из кухни, — повторила я.

Он занёс над головой побелевший кулак. Я поняла, что сейчас он меня ударит. Тогда я захохотала так, что испугалась сама. Он отвел глаза и развернулся. Саданул входной дверью, на грохот заплакал за стеной чей-то ребенок. Мне показалось — мой, я рванулась в комнату, но там было пусто. И потом я видела сквозь окно, как он шагал широкими шагами в глубину зимы, черное пальто было слишком резким на фоне убийственного снега. Трамвайный человек остановился вдалеке и стоял не разворачиваясь, как мой муж Серёжа целую вечность назад — мне так же хотелось крикнуть, чтобы он вернулся, но я крепко держала сомкнутыми челюстями разбухший от напряжения язык. А потом его фигура исчезла, и в окно была видна только снежная пустота. Я вернулась на кухню, поднесла спичку к детским тряпкам. Не горело. Тогда я густо полила одеколоном, оставшимся от трамвайного человека. На вонь и копоть стучали соседи, но я не открывала — лишь когда у подъезда затормозила пожарная машина, я вышла, чтобы сказать, что все в порядке. Однажды я встретила Серёжу на троллейбусной остановке — он стучал по стоптанному снегу ногами, подняв воротник осеннего пальтишка. Будто бы и не узнавал меня — глаза проскользнули мимо равнодушно и беззлобно.

— Ребенка надо показать невропатологу. Скорее всего, тут причина быстрые роды — гипертонус. Как-то скованно работают ручки, Серёжа.

Подбородок у него дрожал, и он посмотрел на меня так, будто никогда не видел. От мороза его щеки не были красными — я испугалась, что он их обморозил и принялась тереть его лицо шерстяными рукавицами.

— Господи, да разве можно так... — шептала я. — У тебя слезятся глаза, Серёженька...

Он вдруг взял меня за руки так, что мне стало больно. В глазах забилось гибким телом нечто стальное, леденящее.

— Я ведь все про тебя знаю, — прошептал он.

Ушёл. Дома я написала письмо.

“Здравствуй, мама. Серёжа решил на следующий год поступать очно в институт. Очно ему никак не учиться — сама представляешь, какая ситуация. По ночам он встает к ребенку, помогает пеленать. Я стираю, он гладит пеленки. Ходит в детскую кухню, но не часто — молока пока хватает. Интересно, а как у тебя было с молоком, когда ты кормила меня? Первое время он не отсасывал полностью, приходилось все время сцеживать. Но вот только кончу кормить, и мы обязательно приедем к вам в гости.”

Я сидела на полу, у радиатора отопления, и было холодно ягодицам. Отчего-то была раздетой. Тянуло по низу, медленно шевелились среди

окурков и клочьев изорванной бумаги мои вырванные расческой волосы. И я начала думать, как мне добраться до Казани — ведь должен же существовать тот путь, которым добралась туда мать. Опускался за стеклом снег. Мне нужно в Казань, к матери, потому что в этом городе мне больше не жить. Я подняла с полу высохшую корку хлеба и стала, смачивая слюной её край, отчленять от него разбухающие крошки.

РЮММ

Не сойти с ума!
Эпохальный ветер
просквозит дома
и грудные клетки...
Остается то,
что всего прочнее:
за угрюмый стол
и за крест на шее,
за окно впотьмах —
нажитым заплатишь.
Выметают прах,
и все двери — настежь.

Страшно тогда человеку, стынет его сердце.

Но трудно сказать, где “дыхание Рока”, а где просто буря, просто бурное одиночество стихии.

В первые часы того дня было как раз особенно тихо, и, бледно проступая из ночи, город стоял, как приснившийся. Но к пробуждению людей потянулись от черных деревьев редкие, крашенные октябрем волосы улетающей листвы, потом деревья, дома и сама земля — всё вздрогнуло и как бы зажмурилось, укрылось в себе; купол дня потемнел, как белок гневного глаза, воздух натянулся звенящей струной и рванулся, порвался — посыпались стекла, город потерял отчетливость черт.

Застигнут этой непогодой, возвращался домой из хлебного магазина человек по имени Рюмм. Двумя руками он прижимал к себе концы воротника и пакет. Шляпу он уже потерял, её унесло через перекресток. Рюмм конфузливо сгорбился и направился было за ней под визг одинокой машины... Нет, ему вспомнилось, что эта внешне респектабельная шляпа сильно заношена со стороны подкладки. “Конечно, ее понесёт теперь на стройку, где вырыта яма без дна и торчат арматурины. Прощай, фетровое тельце!”

В голове его и на голове стоял свист. Но в груди ком страха был пронзен иглой воли — Рюмм тшился идти скорее, к нему должны придти. Он не помнил, кто. Рано утром, в тишь, ему позвонили и сообщили... — спросонок он понял, что придут. Не из издательства, по чьей просьбе он переводит к нам, через дорогу много маленьких слов, и не от Неё, которую он боится встретить в каждом звонке, стуче, шорохе. Звонили из другой организации — архитекторы? Нет? — не они, но придут. “Балконовладение, балконосъемка, балконопользование?..” Во сколько, забыл.

Мимо Рюмма в трубу улицы пушечным ядром промчался газетный ком. Над улицей мятой копиркой прокувыркалась ворона. Рюмм ныр-

нул в свой подъезд и расправил лицо после жестокой гримасы. На прощавшейся улице остались двое.

Твердовынная, упрямоплечная пара мужчин. Гуськом, с накреном упорства они тащили долгий красный рулон, объединяясь им, как идущие на приступ — бревна. Это работники ЖЭКа несли вешать лозунг на рюммовский дом. Он должен пройти по верхнему, 14 этажу, крепясь на тамошних балконах. Потому звонили балконовладельцам и обязывали быть.

Двое втиснулись в лифт, перевели дух. “Погодка!” — сказал помоложе. Старший просто в ответ брякнул голосом.

Рюмм уже уткнулся в страницу. “Марсианин стоял у двери. Перья на его задку поднялись дыбом”.

Рюмм услышал звонок, и сквозь дверь ему каркнули: “ЖЭК”. Пришел один из рабочей пары, который постарше. Турчин. Вторым, Котов, находился на дружокрайнем балконе, где привязывал конец лозунга, восклицательный край. Когда привяжет крепко, тогда зачинный край перекинёт на рюммовский фланг, но не вбок, как бы хотелось, а сперва на крышу, ибо в штормовую погоду вбок передавать рискованно, лозунг может, как говорится “увлечь”.

Турчин — его верхняя губа не выступала на лице, или всегда — от расчетливости его натуры, или обычно — от взятых на себя позерских обязательств, или нынче — от переживания лютого мужества, оттого, что закушена нижней губой. Его глаза презрительны из-за едкой ревности к вещам и лицам, ничем не заслужившим своего существования. Ногами, гнутыми от бремени надоевшего трудового долга, Турчин вступил в жильё Рюмма, отпечатывая на паркете огромные белесые следы.

Рюмм сконфузился и позавидовал умеющему так вступать в чужой дом и оставлять, не глядя, на чужом полу такие следы — “марсианские”, показалось ему. И вся фигура Турчина вызвала уважительную завистливую робость в душе хозяина. Перед таким громоздким, бурным, глобальным существом Рюмм почувствовал свою детскость — все у него детское, даже лысына.

Турчин брезгливо повернул ручку балконной двери, и вдруг дверь кинулась на него и убрала с прохода, с пролета — ветер внёсся в комнату, завихрил бумажки, смешивая оригинал, перевод, черновик, беловик. “Входную дверь надо было закрыть,” — подумал Рюмм, завороченный движением листов.

Турчин недолго инспектировал свистящий балкон, и Рюмму даже в этот исключительный день не удалось избежать своего тошнотного, вечно ожидаемого маленького стыда: обративши в комнату отхлестанное ветром лицо, жэковец высказал возмущение по случаю того, что балконная ограда заделана фанерой — “чтоб не дуло в ноги” — ради этой нежности не найдешь теперь, к чему вязать лозунг. Командно повелел отдирать самодельщину, Турчин оставил жильё покоим.

Рюмму было за себя грустно, что он быстро, точно своровал, взял у

себя трешницу и затаился отдать. Он постарается ловко, по-свойски вложить ее в руку работника, а тот по-свойски подмигнет и отвернется от той твоей стороны, где рукой обретает карман. (Кто-то рассуждает, что любовь или расположение нельзя купить — неправда, неправда! Иначе и жить было бы нельзя!)

Турчин между тем поднялся на крышу. Крыша сделана плоско, в виде дворика, окруженного ничем. Ветер сбивал отсюда все, что мог сбить, и человек упал, припал к площадке и пополз. По краю крыша обнесена низенькой, в рост ползущего оградой; Турчин вцепился в нее и против ветра во всю закричал — Котов из под края крыши взмахнул в ответ сдуваемой тряпкой голоса — значит, место совпало. С крыши была спущена проволока, к проволоке был затем прицеплен трос, и таким образом трос был поднят с балкона наверх, чтобы можно было, профессионально говоря, «провести лозунг».

Турчин пополз вдоль ограды и повлек с собой трос. Ветер включил ему в ухо сирену — себя не услышишь, даже мат забылся из ума.

Рюмм уже не чаял дожидаться Турчина, как услышал спешный звонок — побежал, отворил, и денюжка в руке... — входящий был меньших габаритов, молодой и весь какой-то понятливый. Трешницу он взял ментально, сказал: «Ну да, справимся,» — как будто перед этим у них о чем-то шла речь. Это был Котов. На его краю все было готово, осталось придти сюда, помочь растянуть и закрепить полотно. Котов и Рюмма привлек. Подержал за локоть, перед выходом на балкон сказал: «Осторожней!» — и подпихнул наружу.

Рюмм вышел и получил удар в грудь, лицо, какая-то густая пустота дыхание. Панорама свернулась сиреновой спиралью. Рядом рвался крик: «Аша!»... Вай!» Котов получал с крыши трос.

Послушно некой команде, Рюмм тоже схватился за спущенный трос — рывок, боль в пальцах — между балконами повисла тонкая дрожащая дуга. «Норма!» — взвopil Котов вверх.

Они тянули — дуга подбиралась. Дошло до полотна: оно стало вытаскиваться стравливаться с того, восклицательного балкона. Там показались Турчин, помогал полотну стравливаться, подавал размеренно. Полотнище побежало по ветру, легло на ветер, выгнулось — Котова и Рюмма придало к ограде. «Наматывай на себя! Крутись!» — догадался смышленный «жэк». Рюмм наматывал трос на себя, как на катушку, передавливая свои внутренности. «Дрень иац икада уали тао мефя раник!» — смеялся Котов. «Что? Что?» — «Древние китайцы никогда не запускали такого змея в праздник.» «Он смелый и шутник,» — подумал о нем Рюмм. На миг его сердце отогрелось. Чтобы и себя не показать трусом, он спросил о содержании лозунга, но тут ветер привлек их к ограде. Котов не ответил, стиснулся. Потом сплюнул, хотел вниз — полчилося вверх и вбок.

Полотнище высвободилось всей площадью, распахнулось парусом — удерживать его не было сил. Рюмм побелел от упорства и был близок к

отчаянию. Ему казалось, что их, верней, его сорвет отсюда, так как он обмотался, попался — змей прикусил его поперек тела и треплет, пока не подбросит... И тут Котов кричит: “Постой, надо прикурить,” — отпускает трос и уходит с балкона в проем стены... “Ты что!” — завизжал Рюмм не своим голосом. “Держись,” — ответил Котов, чувствуя, что в самый трудный момент битвы нуждается в глотке покоя.

Он закрыл за собой балкон, прикурил и глянул через стекло.

Небо, придавив поднебесье к миру крыши, клубилось чудовищными телами, взбирающимися друг на друга, сходящимися в многоплановый сумрак. Ниже: окаменелости пространства — склоны, острия, пазухи, щели... теснящиеся на дне сквозного космоса — город был неприютен и отдавал синевою, как бывает с губами остывшего человека.

Он затанулся, не спеша выходить, повернул ручку двери — и попал в искаженное время, застрял с дымящимся ртом, наблюдая события столь медленные, что мог бы несколько раз спасти своего жалкого помощника, если бы мог спасти. Жильца поднимало горизонтально, он сопротивлялся, упираясь и отключиваясь, но его поднимало над оградой — он держался руками, словно стоял на них, вцепился, но его заводило головой вперед и вниз — по ту сторону. Котов запомнил даже теплые меховые тапочки на перевернутых над высотой ногах.

Турчин согнулся к полу, чтобы не знать о случившемся. Котов отпрянул в комнату Рюмма. От удивления его мутило, дыхание было горячим, а мысль ослепительно пустой. Он ничего не знал и не понимал.

Тело спускалось, пересекая уровни этажей, оно в полете вращалось, потому что разматывался трос, все быстрее летело и вращалось, обхваченное ветром, пока не достигло 6-го этажа, откуда пошло на подъем, спешно и плавно, по ветру, еще вертясь, освободилось от троса, от всего... и упало в чей-то балкон, как в ладонь.

Котов и Турчин сошлись на земле и стали гадать о судьбах Рюмма. Думали, не соглашались, спорили. Они ожили во взаимных обвинениях.

— Ты на флоте не был, дурак. Кто ж интеллигента допускает к парусу! — кричал Турчин.

— Ему присесть надо было глубже! Я-то при чем? Ты сам где был?

— Вот найдем его — и под суд пойдешь, — грозил Турчин.

— Ты старший, тебя и будут судить, чтоб дурака на работе не валял.

Котов полагал, что тело заброшено к соседнему дому в груды ящиков овощного магазина. Турчин вовсе не знал, почему нескладный жилец не лежит перед ним, и был этим суеверно напуган и матерился, что Рюмм закрыл балкон фанерой.

А виновник волнения пришел в себя, пока еще — внутрь, но голубая жилка на его руке тихо стучала наружу. Его глаза были обращены вспять, и словно там, внутри головы, он видел иную картину.

День, блеклое небо с низким пластом далекой тучки. Равнина с кое-где стоящим кустиком или тонким деревцем — такая грустная, сиротливая даль. Он отозвался стесненным сердцем, растроганно, виновато, с

таким чувством, наверное, вернувшийся блудный сын смотрел в окно на родные места.

И Рюмм забеспокоился что-то найти. Он глядел в самую даль, тончающую между небом и землей, как меж закрывающихся страниц — только боль в глазах. Оборачивался вокруг себя, ища вблизи, — казалось, что-то прячется от него за ним же. И не нашел.

Он отчаялся и посмотрел вовне — тут колокол памяти оглушил его, и он прижался к бетону, застонал.

— Э-эй там! Жив? — кричали снизу.

Выдохся ли ветер, или потерял силу своего значения, из соседних домов спустились на землю жильцы. Очевидцы указали балкон. Котов поднимался в ту квартиру, бился об дверь — ответила старуха, никого не пустила, ничему не поверила. Кто ее знает...

Толпа росла. Приключившийся факт раззадорил умы и дал пищу праздному чувству. Повелись воспоминания о чудесных и обыкновенных (вдребезги) падениях. Прибежал некто. Его бессмысленная душа изнывала сама о себе, как в мешке, который кем-то завязан снаружи, чесалась и ждала первопопавшейся жизни, и при любом задевании чувствительного мешка он подскакивала к отверстию, оконцу и выражала себя в мир, что внешне выглядело говорением слов... неизвестно каких, неизвестно откуда. Несчастный быстро — от нетерпения прийти в зацепление с реальностью — спросил дату и день недели. “Вот день его смерти. Как сможешь остаться жить, если качался на лозунге!” — “Уйди ты, больной! Он жив!” — “Если не сейчас, то потом он все равно будет мертвый!”

Приехала “скорая помощь”. Врачи одолели старуху и вынесли Рюмма.

Толпа смолкла. Все помогали поместить носилки в машину, как-то враз поумнев при виде врача и носилок. И долго бы еще стояли, обогатившись на вечер каким-то теплым печальным чувством, внимательно дорожа друг другом, если бы не милиция.

— Ну вот... — сказали в сторону приближающейся фигуре и разошлись по домам.

Все. Случай-цветок был исчерпан, выпит. Люди унесли его нектар.

Осталось висеть полотно, словно отклеившийся от гигантского лба пластырь. Остался лежать на газоне никем не замеченный мертвый воробей. Остались окурки, следы...

Ветер иссяк. Как лицо жизни волшебнo меняется! Тревожную мглу просквозило солнце, и в умирном воздухе засветился янтарь осени. Запрягали в “классиках” разноцветные фигурки детей. Пожилые люди сели на скамейки терпеливо и зорко сторожить свое прошлое: вдруг пройдет вот здесь среди чужого и нынешнего. Пошли преследовать свои интересы те, кто живут теперь. А город омывался небом, дышал голубицей, в окна и арки лова солнца.

Так порой пригожим днем минувшая ночь с ее удушливым ужасом

показалась бы игрой фантазии, не будь бледности в лице и тряски в руках.

Рюмм лежал в больнице и видел кошмар — продолженье недавнего кошмара: он висит в небесной пустоши, держась за верх тонкого шеста. Над головой уже черная подкладка неба, внизу — весь голубой эфир прозрачный и твердь земли с ее горами и лесами. Шест, тянущийся ниткой от самой земли, гнется на целые версты туда и сюда. Рюмм при этом весь костенеет, сердце его на прощание замирает, мысль мечется неуловимым зайчиком в темный угол сознания и меркнет, чтобы снова возвратиться вместе со свистом и чувством зыбкости бытия.

В течение недели подобные страхи мучали его, сразу же встречая за порогом сна, а потом были реже и не так страшили, и он перестал жаловаться на них врачу, который лечил их внутримышечной инъекцией витаминов группы “В”. Рюмм покинул больницу, когда город был в снегу. Вышел на улицу и обрадовался, словно и его память укрыта белым забвением. “Как хорошо-то!” — улыбнулся он, разглядывая снег и каменные тени. Но долго любоваться и глубоко дышать свежестью ему было нельзя, так как одежда на нем была еще октябрьская, и он поспешил на транспорт, оценивая степень своей хромоты. Да, он теперь хромым — навсегда, между прочим.. И характер его навсегда изменился. Он ехал в автобусе и чувствовал, что он другой, ибо все стало другое. Ему казалось, что он что-то еще видит, кроме вот этих лип и пальто, видит что-то невидимое, и от этого все вокруг было загадочным, и он смотрел на все так пристально, как ребенок.

Для заметок

СОДЕРЖАНИЕ

“Обводный канал”

| | |
|--|----|
| Кирилл БУТЫРИН. Предупреждение. | 3 |
| Стихи: | |
| 1981-1982 | 6 |
| Дмитрий БОБЫШЕВ | |
| Алексей ЖИДКОВ | |
| Елена ИГНАТОВА | |
| Виктор КРИВУЛИН | |
| Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД | |
| Сергей МАГИД | |
| Олег ОХАПКИН | |
| Иван ТАЙЛОВ | |
| Сергей СТРАТАНОВСКИЙ | |
| 1983-1985 | 19 |
| ГАВРИЛЬЧИК | |
| Александр МИРОНОВ | |
| Елена ПУДОВКИНА | |
| Елена ИГНАТОВА | |
| Алексей ШЕЛЬВАХ | |
| 1986-1989 | 25 |
| Елена ШВАРЦ | |
| Иван ТАЙЛОВ | |
| Василий ФИЛИППОВ | |
| Александр МИРОНОВ | |
| Сергей СТРАТАНОВСКИЙ | |
| Проза: | |
| Борис КУДРЯКОВ. Поиск дятла. | 39 |
| Владимир КОНСТАНИАДИ. Портрет Непрухи. | 53 |
| Игорь НЕПРУХА. Рассказ без туфты. | 55 |
| Рассказ для чтения вслух. | |
| Пётр КОЖЕВНИКОВ. Записная книжка | 63 |
| Королева Ропшинской | |
| Николай КАЛЯГИН. Прощание славянки | 69 |

| | |
|--------------------|----|
| <u>Группа ДООС</u> | 87 |
| Константин КЕДРОВ | 89 |
| Елена КАЦЮБА | 92 |
| Людмила ХОДЫНСКАЯ | 96 |

“Сумерки”

| | |
|--|-----|
| Александр НОВАКОВСКИЙ. О журнале “Сумерки” | 99 |
| Борис БЕРКОВИЧ. Стихи | 101 |
| Борис ВАХТИН. Шесть писем (роман) | 104 |
| Юрий ГАЛЕЦКИЙ. Стихи | 115 |
| Николай БАЙТОВ. Знаки несогласий | 118 |
| Дмитрий ГРИГОРЬЕВ. Стихи | 125 |
| Олег ЮРЬЕВ. Стихи | 127 |
| А.ИЛЬЯНЕН. Абориген и прекрасная туалетчица. Выбранные места из либретто. | 132 |

“Встреча”

| | |
|--------------------|-----|
| Алексей ПРОКОПЬЕВ | 162 |
| Виктор САНЧУК | 165 |
| Сергей ОВЧИННИКОВ | 171 |
| Дмитрий ВЕДЕНЯПИН | 173 |
| Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ | 181 |

“Симбиоз”

| | |
|--|-----|
| Андрей РУБЦОВ. Прекоитальное | 189 |
| Андрей РУБЦОВ. Стихи и проза | 192 |
| Дмитрий Александрович ПРИГОВ. Из сборника “Стих как воля и представление” | 194 |
| Николай БУЛАНОВ. Черный венчик | 200 |
| Сергей СИГЕЙ. Стихи | 203 |

“Приложение к”

| | |
|---------------------------------|-----|
| Евгений БУНИМОВИЧ. Стихи | 208 |
| Вадим ПАНОВ. По дороге в Казань | 213 |
| Андрей ГАЛЬЦЕВ. Рюмм | 224 |

ГАЗЕТА
“ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД”

*Завтрашний день новейшего искусства
Уникальная информация о нем
Трибуна самых смелых культурологических концепций
52 выпуска в год на русском языке*

Подписка — в помещении редакции (Малый Левшинский пер., 14/9. Тел. 201-45-83.) открыта круглогодично, с любого числа и месяца. Стоимость за полгода — 1000 р.

Если Вы захотите стать не только читателем, но и спонсором, стоимость благотворительно-подписного листа на газету может быть любой, по вашему желанию.

Если Вы заинтересованы в нашей газете, но не можете позволить себе оплатить необходимую сумму, присылайте заявление на бесплатную подписку, написав более подробно о себе и о том, что конкретно интересует Вас в нашей газете.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Книг сейчас продается много и на самый широкий спрос — от эротики до классики. Но вот вдруг вам понадобился зачем-то, допустим, “Справочник астронома” — вряд ли вы его обнаружите на коммерческих прилавках. Или что-то новенькое по каким-либо иным специальным отраслям знания или, например, культурологическое что-нибудь из современного, или по литературоведению, не говоря уже о поэзии или прозе авторов пока неизвестных, не классиков. Однако, жизнь продолжает развиваться по своим законам, возникают новые идеи и новая литература, о которой подчас понятия не имеют перекупщики книг, пользующихся повышенным спросом. Одновременно, несмотря на изобилие коммерческих прилавков, остается неудовлетворенный, разочарованный читатель, лишенный элементарной информации или просто не получающий новой пищи для всевозможных своих рассуждений и измышлений.

Задача “Читательского клуба” в том и состоит, чтобы помочь книге найти путь к своему читателю. Для этого мы создаем компьютерный банк информации по выходящей современной литературе, заказывая ее через разные издательства и предлагая вниманию читателя. Организующим центром станет, отчасти и наша газета, в которой мы будем регулярно печатать каталог “Читательского клуба”, все время меняющийся адекватно составу литературы. В газете мы также предполагаем печатать объявления с подробными аннотациями книг, готовящихся к изданию. Карточки с Вашим заказом на объявленную книгу станут решающим аргументом в пользу ее издания. Чем больше заказов, тем больше шансов у книги быть изданной.

Просим, по-возможности, присылать Ваши заказы именно на карточках, картонных или из плотной бумаги, что значительно упрощает задачу систематизации и хранения банка данных, а также ввод их в компьютер.

На одной карточке может быть обозначено не более одного наименования. Количество экземпляров одного наименования проставляется пожеланию заказчика:

Влад.Алейников “Путешествия памяти Рембо” — 2 экз.

Если Вы решили заказать несколько разных книг, каждую из них следует обозначить на отдельной карточке.

Каждая карточка заполняется Вами с обеих сторон: на лицевой стороне должен быть указан Ваш адрес с почтовым индексом, а на обороте — название одной из книг и количество экземпляров.

При условии соблюдения Вами этих несложных правил, значительно упрощается наша работа и срок доставки Вам нужной книги. Одновременно, Вы становитесь полноправным членом нашего “Читательского клуба”, Ваши данные поступают в компьютерный банк данных, и Вы получаете постоянную информацию о книгах-новинках. Одновременно Вы и сами можете назвать в своем заказе книги, которые хотели бы иметь, независимо от наличия этих наименований в нашем каталоге или объявленных аннотациях.

Надеемся, что Вы не забудете прислать нам дополнительный конверт с Вашим адресом.

КАК ПОЛУЧИТЬ КНИГУ, ЗАКАЗАННУЮ В ГУМАНИТАРНОМ ФОНДЕ

Наши книги мы высылаем по почте, т.е. к стоимости книги, заявленной в каталоге, приплюсовываются почтовые расходы. Это называется наложенным платежом.

Порядок выкупа книги

Получив извещение почтового отделения, Вы можете отправляться за своей книгой. Не забудьте захватить с собой паспорт. Прежде чем выкупить бандероль, Вы имеете право ознакомиться с ее содержанием. Если заказ выполнен неправильно (напр., выслана не та книга или лишний экземпляр), и это произошло по вине отправителя, получатель имеет право не выкупать неправильно оформленный заказ. В этом случае, книга возвращается в “Читательский клуб”, несущий определенные убытки, которых он стремится, конечно же, избежать.

В настоящее время, компьютеризация банка данных и отдельных

операций, связанных с рассылкой, позволяет практически ликвидировать подобные сбои в нашей работе.

НАШИ ИЗДАНИЯ:

АБСТИНЕНТКИ — что, кто это? страдающие вульгарным синдромом? может быть некурящие и трезвенники, или они просто в метро ездить не могут? Плохо им там, и все. Или они на мифологию не хотят работать, “Ториса огум” сегодняшней демократии в ушах чересчур навязла. И неприятие (абстиненция) — единственный признак наличия инстинкта самосохранения, а значит, в конечном итоге есть приятие по-неволе.

Сборник женской прозы. Гуманитарный фонд, серия Андеграунд. М. 170 с. Цена 70 р.

ВИДИМОСТЬ НАС — сборник прозы, дающий срез неофициальной литературы конца 80-х. Многие из авторов так называемой второй или параллельной культуры достаточно известны сегодня — прозаик Зуфар Гареев с его нашумевшей “Мульти-прозой”, Егор Радов, известный своим постмодернистским романом “Змеесос”, критик, прозаик и культуролог Олег Дарк или Владимир Сорокин ставший даже одним из номинантов на премию Букера.

Гуманитарный фонд. М. 160 с. Цена 70 р.

“ЛИЧНОЕ ДЕЛО N...”

Сборник составлен из стихов и критических эссе семи представителей направления современной литературы, проходившего в недавнем прошлом под определением “неофициальная” или “андеграунд”. Все они объединились по своей воле в спектакль “Альманах” на сцене Театральных мастерских СТД Российской федерации. Сборник включает также работы И.Кабакова, В.Янкилевского, Э.Булатова, В.Пивоварова, Г.Брускина и др., которые могут рассматриваться как художественно-пластический контекст поэтического авангарда.

Составитель Л. Рубинштейн. М., В/О “Союзтеатр”. 272 с. Цена 100 р.

“ШАРЫ” — коллекция переводов классической американской поэзии, выполненных нашей соотечественницей много лет прожившей в Америке, Изабеллой Мизрахи: Эмили Дикинсон, Роберт Фрост, Харт

Крейн, Уильям Карлос Уильямс, Уистан Оден, Теодор Ретке, Роберт Лоуэлл, Джон Берримен, Ричард Уилбер, Роберт Хейден, Говард Мосс, Сильвия Плат.

Фирма “Контакт-ТМТ” Совместного советско-швейцарского предприятия “Мосрент”. М. 100 с. Цена 5 р.

“ВАВИЛОН”: Вестник молодой литературы. Вып. 1. Включает поэтов, критиков, прозаиков различной литературной ориентации с одним неизменным условием — возраст каждого из них не старше 25 лет. Во второй части вестника — стихи Н.Горбаневской и О.Седаковой, тексты Елены Гуру и другие материалы, формирующие литературную ориентацию молодых авторов.

М., “Гуманитарный фонд”, 1993. Ц.80 р.

“ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ” (Благотворительные фонды, общества и др.) 85 с. 150 р.

“КТО ЕСТЬ КТО В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ?” (Справочник.) 50 с. 100 р.

“СПРАВОЧНИК ПЕЧАТНИКА” 14 с. 15 р. 2.00 (Типография в домашних условиях, 1/16, сборник советов)

“ПОТОМУ ЧТО ЖИВУ” Евгений БУНИМОВИЧ 80 с. 60 р. 30.00 (стихи)

“СТИХИ” Александр ЕРЕМЕНКО 143 с. 65 р. 50.00

“КОМПЬЮТЕР ЛЮБВИ” Константин КЕДРОВ 174 с. 120 р. 10.00

“ИНДЕКС” вып.3 Антология 364 с. 500 р. по материалам рукописных журналов “КОНТИНЕНТ” N2,93 журнал Москва-Париж 340 с. 150 р.

“МЕСТО ПЕЧАТИ” вып.1 Ю.КИСИНА,Л.ТИШКОВ 150 с. 80 р. (журнал искусств) и др.

“СМЕРТЬ ЖИВЬЕМ” Анатолий БЕРГЕР 82 с. 65 р. Воспоминания о тюрьме и ссылке. Логическим доопределением к мемуарам стал “состав песнопения” — стихи, которые были инкриминированы поэту.

“В НОЗДРЕ ПИРАМИДОНА” Петр КАПКИН 111 с. 70 р.

ЗМЕЕСОС” Егор РАДОВ 222 с. 200 р. (роман)

“ИЗ ЖИЗНИ КОМИКАДЗЕ” Алексей ШИПЕНКО 350 с. 120 р.

“ТЕНЬ БАРКОВА” Александр ПУШКИН 32 с. 25 р. (текст и комментарии)

Альтернативные средства информации на Западе (анархизм, антро-

пософия, женские движения, геи, гашисты, эзотерика, экология, экономика, архитектура, культура, литература и др.), а также центры славистики и всевозможные благотворительные фонды.

Справочник. М., 1993. С.300. Ц.1000 р.

ИНДЕКС

альманах по материалам рукописных журналов

Составитель А. Урицкий

Редактор М. Ромм

Художник А. Миронов

Подписано в печать 24.05.93 Печ.л. — 15. Формат 60x90 1/16
Бумага офсет №1 Заказ № 5657Р Тираж 500 экз.

ОНТИ ПНЦ РАН

